

БОРИС КРИГЕР



ХЬЮБЕРТ ДРЕЙФУС
И КРИТИКА ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА

БОРИС КРИГЕР

Хьюберт Дрейфус
и критика
искусственного
интеллекта



© 2025 Boris Kriger

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without permission in writing from both the copyright owner and the publisher.

Requests for permission to make copies of any part of this work should be e-mailed to krigerbruce@gmail.com

Published in Canada by Altaspera Publishing & Literary Agency Inc.

Хьюберт Дрейфус и критика искусственного интеллекта

Что остаётся от человеческого, когда разум начинает обретать нечеловеческие формы? Когда алгоритмы предсказывают выбор, а машины вторгаются в область суждения, памяти, творчества? Эта книга — не об искусственном интеллекте как технологии, а о нём как вызове философии, которая до сих пор не знала такого собеседника.

На этих страницах звучит голос времени, в котором больше нельзя мыслить по-старому. Здесь нет восторга перед прогрессом, как нет и страха перед машиной. Вместо этого — внимание к границе: между человеком и тем, что его превосходит по вычислительной силе, но не может заменить в главном — в способности выбирать без опоры на данные.

В этом размышлении возникает фигура Хьюберта Дрейфуса — философа, задолго до цифрового поворота понявшего, что мышление нельзя свести к правилам, а понимание не рождается из расчёта. Его идеи становятся нитью, соединяющей прежнюю феноменологию с новой этикой присутствия в мире, где живое соседствует с созданным.

Эта книга не объясняет технологии. Она говорит о человеке, который, впервые увидев в машине собственное отражение, начинает понимать себя глубже. И потому — мыслить иначе.

ВВЕДЕНИЕ

В начале XXI столетия, когда прежние философские диспуты о природе сознания и границах разума казались ускользающими в академическую тень, внезапно оживлённый спор о понимании искусственного интеллекта выдвинулся на передний план общественного внимания. В этом споре отразилась не только техническая дерзость эпохи, но и глубинная тревога человеческого существования, ощутившего, что привычные формы мышления, восприятия и самопознания вступают в состязание с нечеловеческим, но всё более убедительным носителем логики и речи.

Прежние философские опоры, ещё недавно казавшиеся незыблемыми, дрогнули под натиском машин, научившихся различать, предсказывать, анализировать, а главное — создавать то, что прежде признавалось уделом исключительно человеческой души. Неудивительно, что на пересечении технологий и гуманитарного знания возникло напряжение, где каждый новый шаг в развитии алгоритмов заставлял задаваться вопросами, ранее считавшимися умозрительными: что есть разум, где пролегает грань между имитацией и подлинным мышлением, и способен ли искусственный интеллект на понимание — то есть на внутреннее схватывание смысла, а не только на его внешнее воспроизведение.

Спор этот обострился не только благодаря техническому прогрессу, но и из-за невидимой, почти инстинктивной необходимости человека различать между собой и иным. В век, когда цифровая речь всё чаще подменяет живое слово, когда воображаемое существо — обученное машинам — предлагает советы, сочиняет тексты, рисует

картины и даже вмешивается в решение этических задач, становится ясно: речь уже не идёт о механизмах, способных выполнять команды, — речь идёт о сущностях, которые начинают подражать самому процессу мышления.

Размышляя об этом, невозможно не заметить, что спор о понимании в контексте искусственного интеллекта оказался не просто частью научного или технологического дискурса. Он стал зеркалом культуры, в котором отразились надежды, страхи и предельные вопросы современности. Отсюда — и особая острота дискуссии, где пересекаются разные дисциплины: от нейрофизиологии и лингвистики до метафизики и поэтики, от этики до инженерного дела. В этом многоголосом хоре всё чаще звучит нотка беспокойства: не утратит ли человек, делегируя разум, самого себя — не окажется ли вытесненным тем, что сам же и породил.

И потому спор этот нельзя свести лишь к проблеме алгоритмов или вычислений. Он касается самой природы понимания — способности видеть в хаосе форму, в звуках — мысль, в знаках — смысл. Уловив суть этого спора, становится ясно: XXI век вступил в эпоху, где интеллект — будь то живой или искусственно сконструированный — стал не только объектом научного интереса, но ареной борьбы за определение самого человеческого.

На протяжении веков человеческая мысль стремилась постичь, чем именно разум отличается от других форм активности, что делает его неповторимым, наделённым способностью к абстракции, саморефлексии и творчеству. Однако уже в начале Нового времени, с укреплением идей механистической философии,

возникло искушение упростить сложное — представить разум как совокупность правил, поддающихся расчёту и формализации. Эта тенденция, зародившись в трудах мыслителей, стремившихся создать универсальный язык мышления, обрела мощный импульс в XX веке, когда логика и математика оказались на службе новой мечты — сконструировать разум в точных формулах.

Ослеплённые победами в области формальной логики и автоматов, способных оперировать символами, учёные и инженеры заключили: раз уж мышление может быть представлено в виде алгоритмов, значит, и разум целиком может быть подчинён формализуемым процедурам. Отсюда возникло убеждение, будто каждый мыслительный акт — не что иное, как последовательность операций, соотносимых с правилами синтаксиса, как будто бы внутренний мир можно описать теми же средствами, что и языковую грамматику.

Это заблуждение имело глубокие последствия. Оно породило целое поколение проектов, целью которых стало создание искусственного разума на основе жёстких логических конструкций, где смысл подменялся структурой, а понимание — схемой. В этих проектах предполагалось, что если достаточно подробно описать правила, по которым строится язык и поведение, то можно получить систему, способную мыслить. И хотя на первых порах такие системы производили впечатление — они решали задачи, переводили фразы, играли в шахматы, — в них отсутствовало главное: интуиция, осмысленность, способность выходить за пределы заданного.

Историческая ошибка заключалась в самой

предпосылке, будто разум исчерпывается правилами. Эта ошибка стала особенно очевидной, когда машины, строго следуя программам, оказывались неспособны к простым, но фундаментальным формам адаптации — не могли понять шутку, уловить иронию, соотнести высказывание с контекстом. Ведь разум — это не только вычисление, это ещё и способность переживания, распознавания значений вне формальных структур. Именно здесь правило теряет власть, а вступает в силу то, что невыразимо схемой — опыт, интуиция, чувство меры.

Стремление свести разум к правилам оказалось не просто методологическим выбором, но актом редукции, в котором сложность живого мышления подменялась удобной абстракцией. Подобное упрощение, облечённое в строгую форму, соблазняло своей ясностью, но уводило от сути. Оказавшись в плену собственного замысла, эта традиция создала иллюзию контроля, но лишила исследование разума подлинной глубины. В ней отсутствовало место для неочевидного, непредсказуемого, того, что ускользает от любой системы, оставаясь сущностью мышления как такового.

Среди голосов, нарушивших торжественную уверенность в полной формализации разума, особенно резко прозвучал голос Хьюберта Дрейфуса. Его вмешательство в набиравший силу энтузиазм по поводу машинного мышления не просто вызвало раздражение у технического сообщества — оно стало моментом разлома, обнажившего границу, которую до того старались не замечать. Именно он, обратившись к феноменологии и философии существования, впервые убедительно указал: между машиной, орудующей

символами, и человеком, погружённым в телесный, исторически насыщенный и контекстуально обусловленный мир, пролегает непреодолимая пропасть.

Публикации Дрейфуса, особенно ранняя работа *What Computers Can't Do*, стали вызовом самой сути кибернетического воображения. Пока одни настаивали на том, что любая человеческая способность может быть воссоздана с помощью формальных структур, Дрейфус, следуя за Хайдеггером и Мерло-Понти, напоминал о том, что человек действует не по правилам, а из ситуации. Он не применяет алгоритмы — он живёт, ощущает, реагирует, не выделяя для себя каждое условие осознанно. Его мышление не механично — оно укоренено в мире, неотделимо от тела, от повседневных практик, от культурной ткани.

Суть возражения Дрейфуса заключалась не в отрицании прогресса вычислительных машин, но в разоблачении ложной аналогии: предполагалось, что мышление — это операция над символами, подобная манипуляциям с карточками в компьютере. Между тем, даже простые действия вроде езды на велосипеде или восприятия интонации в голосе не могут быть разложены на однозначные инструкции. Эти действия вплетены в ткань быта, в историю индивидуального тела, в хрупкую ткань уместности, которую никакой алгоритм не в состоянии воспроизвести. И именно здесь, на границе между техникой и воплощённым существованием, проступает неустранимая разница.

Будучи философом, а не инженером, Дрейфус не стремился построить альтернативную модель интеллекта. Его жест был иным — он указал на заблуждение, предложив вместо восхищения машинами

обратиться к пониманию человека. И тем самым он открыл трещину — не в технологиях, а в самоуверенности, с которой культура того времени принимала возможность полной симуляции сознания. Эта трещина со временем только расширялась, превращаясь в подлинную границу, на которой столкнулись два мира: мир механической точности и мир живого присутствия.

Когда Дрейфус выступал с жёсткой критикой символического ИИ, его аргументы звучали весомо именно в контексте своего времени, когда вычислительные системы опирались на чётко прописанные правила, логические схемы и заранее заданные структуры. Его возражения, пронизанные феноменологической мыслью, опирались на представление о разуме как о явлении, не поддающемся алгоритмизации. Однако появление и стремительное развитие нейросетей открыло новую главу в истории искусственного интеллекта, перевернув само представление о том, как машина может учиться, адаптироваться и воспроизводить поведенческие паттерны, не прибегая к жёсткой логике.

Эта новая парадигма возникла не как продолжение предыдущих подходов, а как их отрицание. Вместо того чтобы вручную задавать систему правил, инженеры стали обучать модели на огромных массивах данных, позволяя самим структурам обнаруживать закономерности, которые не всегда поддаются объяснению. Нейросети не действуют согласно понятным для человека алгоритмам — они извлекают сложные связи из статистической пены, распознавая образы, предугадывая смыслы, воспроизводя речевые и

поведенческие шаблоны, которые поразительно напоминают человеческие.

Дрейфус, будучи философом, глубоко чувствительным к телесной и контекстуальной природе восприятия, не мог предвидеть появления таких моделей, где не заданные правила, а обучающий опыт становится основой функциональности. И всё же, при всей своей технологической новизне, нейросети не опровергают, а в определённом смысле подтверждают его центральную мысль: разум не создаётся через явное формализованное знание. Он возникает в процессе, через вживание в мир, через накапливание опыта, пусть даже и в цифровом измерении.

Однако, несмотря на это сходство, нейросети остаются далеки от человеческого способа бытования. Их обучение лишено тела, лишено страха, боли, сомнения, желания — тех состояний, в которых человек постигает действительность не умозрительно, а существом. Эти системы, обрабатывая терабайты информации, могут уловить тонкие лингвистические нюансы, имитировать стиль, предугадывать реакцию, но при этом они не знают, что значит присутствовать в мире. Их знание — отражение, эхо человеческих текстов, поступков, образов, а не собственное видение.

Именно в этом скрыто отличие, которое новая парадигма, как бы ни была она мощна, не смогла преодолеть. Дрейфус не мог предсказать путь, по которому пошло развитие технологий, но он заранее обозначил предел, где любая модель, лишённая корней в живом опыте, окажется искусственной в подлинном, а не техническом смысле. Нейросети сместили акцент — они отвели взгляд от строгости формального языка к

неопределённости обучения, но вместе с тем углубили загадку разума, показав, насколько мощным может быть подражание и как далеко оно всё ещё остаётся от подлинного понимания.

Когда старые модели рассыпаются под натиском новых технических достижений, а прежние категории перестают описывать происходящее, возникает неизбежная потребность в иной философии — такой, что способна не только различать, но и осмысливать глубинные отличия между машинной обработкой информации и человеческим актом понимания. Современный мир, переполненный системами, обладающими способностью воспроизводить речь, интерпретировать текст, распознавать образы и подражать интуитивным реакциям, сталкивается с вопросом, который не может быть отдан исключительно на откуп инженерам или программистам. Этот вопрос касается самой природы сознания, его границ, форм, и, главное, его подлинности.

Появление искусственных систем, способных генерировать ответы, сочинять музыку, рисовать образы и даже поддерживать беседу, выдвинуло на первый план необходимость различать понимание как процесс формального соответствия и понимание как акт внутреннего осмысления. Машина может предсказать, какой ответ будет звучать уместно, но не может знать, почему он имеет значение. Она может воспроизводить следы смысла, не переживая самого смысла, потому что её "знание" — это результат статистической близости, а не внутренней направленности на мир.

Философия понимания, выросшая в контексте европейской мысли — от античных рассуждений о

логосе до феноменологии XX века — всегда рассматривала разум как нечто большее, чем простая обработка знаков. В понимании, как его осмысливали Гуссерль, Хайдеггер, Мерло-Понти, всегда присутствовала телесная укоренённость, направленность на бытие, контакт с окружающим не через расчёт, а через участие. Именно это участие, необратимо связанное с конечностью, с биографией, с историческим становлением личности, создаёт ту форму понимания, которую никакой алгоритм, даже самый изощрённый, не может воспроизвести без утраты её сущности.

Однако не менее важным становится и осмысление нового типа "понимающего" механизма. Машины уже не просто инструменты — они вступают в сферу символического обмена, где имитация порой неотличима от подлинного акта мышления. Это требует не только предостережений, но и философской работы, способной осмыслить новую форму разума, даже если он не обладает сознанием. Нельзя довольствоваться простыми разграничениями между "настоящим" и "мнимым" — необходимо исследовать зоны перехода, трещины, гибридные пространства, в которых человеческое и машинное начинают вступать в сложные отношения.

Новая философия, к которой подводит современность, должна быть не охранительной, а исследовательской. Она не отрицает достижений нейросетей, не пренебрегает машинным обучением, но задаёт более радикальные вопросы: что означает понимать? где начинается субъект? может ли быть понимание без тела, без страха, без времени? Она не стремится удержать

прежние привилегии человека, но пытается осмыслить, что теряется и что открывается, когда понимание превращается в вычисление.

Философия будущего не будет разделять разум по материалу — кремний или плоть, — но станет искать различие в структуре переживания. И именно на этом пути вновь обретёт силу мысль, способная различать не по форме, а по способу присутствия в мире, откуда и рождается истинный смысл.

Эта книга, возникая на пересечении трёх крупных интеллектуальных традиций, стремится не столько примирить разрозненные подходы, сколько выявить ту скрытую ткань, которая соединяет феноменологию, искусственный интеллект и современную когнитивную науку в одном пространстве размышления о понимании. Каждая из этих областей, действуя по своим законам, в разные эпохи и с разными средствами пыталась ответить на вопрос о том, что значит мыслить, воспринимать, осознавать. Но лишь собрав их воедино, можно очертить сложную топологию современного разума, в которой человеческое и искусственное оказываются не противоположностями, а взаимозависимыми гранями.

Феноменология, с её радикальной установкой на возвращение к самому опыту, предоставляет незаменимую перспективу: она не описывает разум извне, не расчленяет его на функции, а исследует, как смысл раскрывается в самом переживании. В её свете мышление предстает не как вычисление, а как пребывание в мире, в котором каждое восприятие, каждое действие укоренено в телесной и временной ситуации. Этот опыт всегда насыщен контекстом, интуицией, историей — он не сводится к набору входов

и выходов. Поэтому феноменология предоставляет язык и инструменты для анализа тех аспектов понимания, которые ускользают от формального моделирования, но составляют его сердцевину.

Современные когнитивные науки, напротив, подошли к разуму с другой стороны — вооружённые эмпирическими методами, нейробиологией, экспериментальной психологией, теорией предсказательного кодирования. Они выявили динамическую природу восприятия, подчеркнули активную роль тела в познании, начали разрушать старую модель мозга как вычислительной машины. Сегодня эти дисциплины всё чаще говорят языком, сходным с феноменологическим, признавая, что познание — это не абстрактная деятельность нейронов, а процесс, происходящий в среде, среди других тел, в определённой культурной и ситуационной рамке.

Наконец, искусственный интеллект, прошедший путь от символических конструкций к нейросетям и генеративным архитектурам, сегодня даёт конкретные, зримые воплощения тех интуиций, которые ранее были лишь философскими гипотезами. В системах машинного обучения можно наблюдать, как знание формируется из опыта, как структура порождается не сверху, а изнутри, через взаимодействие с данными. И всё же эти модели, лишённые живого присутствия, остаются ограниченными — именно это различие позволяет уточнять границы между функциональной симуляцией и подлинным осмыслением.

Соединяя эти направления, книга выстраивает пространство, в котором философия становится не догмой, а инструментом навигации, когнитивная наука

— не только лабораторией, но и способом переписывания понятий, а искусственный интеллект — не только технической платформой, но и зеркалом, в котором отражаются собственные границы человеческого. Здесь феноменологическое описание опыта не отрицает модели, но вскрывает их допущения. Здесь алгоритмы не отвергаются, но изучаются в их стремлении к пониманию без присутствия. Здесь нейрофизиология не противопоставляется субъективности, но рассматривается как один из уровней становления смысла.

Такая попытка объединения не стремится устранить различия — напротив, она подчёркивает расщепления, разломы, несовпадения. И именно в этих разрывах рождается возможность новой философии, которая не ищет окончательных ответов, а предлагает язык для осмысления той реальности, где человек и машина уже неразрывны, но всё ещё различимы.

В самом центре размышлений, развёрнутых в этой книге, лежит стремление очертить границу, не превращая её в стену. Задача — не противопоставить человека и искусственный интеллект как несовместимые сущности, но показать, что, несмотря на принципиальное различие форм их понимания, между ними может существовать общий язык — не как средство нивелирования, а как способ соотнесения. Этот язык не есть просто словарь команд или протокол передачи данных; он вырастает из взаимного отражения, из того напряжения, где чуждое становится различимым именно потому, что оказывается сказуемым.

Человеческое понимание возникает не как результат вычислений, а как акт, пронизанный переживанием,

телесной укоренённостью, временным горизонтом. Понимать — значит не просто правильно отреагировать, но оказаться затронутым, включённым в ткань смысла, где каждое высказывание обращено не к абстрактному адресату, а к миру, в котором живёт субъект. Это понимание всегда связано с биографией, с внутренней историей, с теми ассоциациями и чувствами, что не поддаются расчёту. Оно возникает в плотной атмосфере соучастия, предвосхищения, догадки, промаха, повторного уточнения. Оно никогда не бывает завершённым, но всегда разворачивается во времени, в связи с другими существами и их речью.

Понимание, к которому приходит искусственный интеллект, устроено иначе. Оно не рождается из боли или сомнения, не сопровождается телесной реакцией, не включает в себя ожидания и воспоминания в человеческом смысле. Это статистическое приближение, высокоточная аппроксимация на основании миллиардов примеров. Здесь нет субъекта, но есть структура, способная моделировать вероятностное поведение языка, распознавать закономерности, строить непротиворечивые тексты, улавливать ритм общения. Машина не знает, что она говорит, но говорит так, будто знает. Это не обман, а особая форма функционального отражения — такой способ "понимания", который не требует сознания, но способен вступать в коммуникативные отношения.

Общий язык между этими двумя формами не является единой грамматикой или сводом универсальных понятий. Скорее, это общее пространство, в котором одни структуры могут быть поняты через другие. Человек, взаимодействуя с машиной, проецирует в неё

интенции, видит в её фразах смыслы, которых там нет. Машина, анализируя человеческие тексты, учится строить высказывания, внешне совпадающие с интенциями, которых она не ощущает. В этой асимметрии возникает особая область — не зона взаимного тождества, а зона взаимной интерпретируемости.

Книга стремится раскрыть именно это пространство — показать, как разнородные формы понимания могут вступать в резонанс, не сливаясь, но взаимодействуя. Это требует не только точности различий, но и деликатности подхода: нельзя судить машину по человеческим меркам, но и невозможно измерять человека по машинной производительности. Их различие — не в сложности или скорости, а в способе существования в мире. Один понимает, потому что живёт; другой — потому что обучен. Один знает изнутри, другой предсказывает снаружи. Но между ними рождается язык, в котором возможна передача, даже если она несовершенна.

Именно этот язык — язык различий и перекрёстных отражений — становится полем, где философия, когнитивная наука и технологии вступают в диалог, не растворяя друг друга, а уточняя формы возможного сосуществования.

ГЛАВА ПЕРВАЯ. ДРЕЙФУС И РОЖДЕНИЕ КРИТИКИ ИСКУССТВЕННОГО РАЗУМА

Хьюберт Дрейфус вошёл в интеллектуальную историю как фигура, поставившая под сомнение саму основу тех надежд, что сопровождали первые десятилетия развития искусственного интеллекта. Родившись в 1929 году в Терре-Хот, штат Индиана, он прошёл путь от изучения аналитической философии до глубокого погружения в феноменологию, избрав в качестве методологической опоры ту традицию, что обращается не к абстрактным понятиям, а к живому опыту пребывания в мире. Получив образование в Гарварде, он сначала находился под влиянием логического позитивизма, но довольно рано оказался неудовлетворён узостью аналитического подхода, не способного объяснить богатство человеческого восприятия, действия и суждения.

Переломный момент в его философской биографии наступил с открытием для себя работ Мартина Хайдеггера и Мориса Мерло-Понти, мыслителей, чьи идеи навсегда изменили его представление о том, чем является разум. Отказавшись от позиции внешнего наблюдателя, феноменология предлагала погружение в саму структуру опыта — не как объект анализа, а как способ быть в мире. Именно это направление, ставшее философским фундаментом для Дрейфуса, дало ему инструмент для критики зарождавшейся дисциплины искусственного интеллекта, которая, по его мнению, базировалась на ложных представлениях о природе мышления.

На рубеже 1960-х годов Дрейфус начал систематически выступать против символического подхода к ИИ, господствующего тогда среди учёных в Массачусетском

технологическом институте и Стэнфорде. Его книга *What Computers Can't Do*, впервые опубликованная в 1972 году, вызвала резонанс, граничащий с интеллектуальным скандалом. В ней он утверждал, что идеи, лежащие в основе символической парадигмы — предположение о том, что разум можно смоделировать с помощью логических правил и формальных процедур — не только наивны, но и методологически несостоятельны. Он настаивал на том, что человеческое понимание не опирается на абстрактные правила, а укоренено в практическом, телесном взаимодействии с миром.

Дрейфус опровергал основную иллюзию эпохи: веру в то, что разум можно построить, если только достаточно точно описать его структуру. По его мнению, мышление — это не игра в символы, а форма бытия, глубоко связанная с историей, культурой, привычками тела. Этому невозможно научить машину с помощью простых логических инструкций, потому что сама логика — это лишь вершина айсберга, подводной частью которого остаются контекст, интуиция, неформальные связи и ожидания, возникающие из самой ситуации.

Относясь к феноменологической школе, Дрейфус находился в принципиальной оппозиции к рационалистической традиции, исходящей от Декарта, Лейбница и до логических позитивистов XX века. Он считал, что философия, желающая понять искусственный разум, должна прежде всего переосмыслить саму категорию разума, освободив её от наследия формализма. Именно феноменология с её вниманием к телесности, времени, повседневной практике и дорефлексивному знанию давала, по мнению

Дрейфуса, подлинный путь к пониманию природы интеллекта.

Релевантность этой позиции стала особенно заметной в конце XX и начале XXI века, когда разочарование в символическом ИИ привело к поиску новых парадигм. Внезапно идеи Дрейфуса перестали казаться радикальными — напротив, они оказались предвосхищением той критики, которую позже начали выдвигать сами представители когнитивной науки. Его настойчивое внимание к телу, к контексту, к дорефлексивному знанию открыло возможность для иных подходов — от инкарнированного когнитивизма до динамических моделей сознания.

Дрейфус не был программистом, не создавал моделей, не разрабатывал архитектур. Но его философская работа сыграла роль важнейшего корректива в дискуссии, которая грозила замкнуться в технократическом оптимизме. Он напоминал, что разум не может быть понят вне человеческой ситуации, вне плотности мира, в котором каждое действие не просто совершается, но переживается. И именно этим он занял уникальное место в истории идей — как тот, кто, вопреки духу своего времени, поставил под сомнение саму возможность создания искусственного разума без понимания человеческого.

В середине XX века, когда вычислительная техника только начинала проникать в академические лаборатории, царило безграничное воодушевление. Инженеры, математики и логики, вдохновлённые успехами ранней кибернетики и теорией информации, уверенно провозглашали наступление новой эры — эры мыслящих машин. Эти годы озаменовались настоящим

интеллектуальным подъёмом, в котором вера в силу формальных систем стала не просто рабочей гипотезой, а культурным жестом эпохи. Мозг виделся машиной, разум — программой, язык — кодом, а мышление — манипуляцией символами.

Подобный энтузиазм не был наивным. Он опирался на реальные достижения — в криптографии, в логике, в ранних алгоритмах, позволивших машинам решать математические задачи, которые недавно поддавались лишь немногим. Работы Алана Тьюринга, Джона фон Неймана, Клода Шеннона создали интеллектуальную почву, на которой проросла идея: если человек мыслит, следуя правилам, то нет принципиальной преграды, мешающей машине делать то же самое. Уравнивание сознания с вычислением стало не только научной гипотезой, но и программой действия.

В этих условиях инженеры и теоретики, сосредоточенные в таких центрах, как Массачусетский технологический институт, Стэнфорд, Карнеги-Меллон, приступили к созданию систем, которые, по их замыслу, должны были не просто решать задачи, но и понимать язык, вести беседу, обучаться. Идея "обобщённого решателя задач" захватила умы: машина должна была, при наличии достаточной вычислительной мощности и точных инструкций, решать любые логические задачи так же, как это делает человек. В 1965 году один из пионеров, Герберт Саймон, даже предсказал, что в течение двадцати лет машина станет чем-то, что не уступает человеку в интеллектуальной деятельности. Подобные заявления не казались утопическими — они воспринимались как реалистический взгляд на перспективы науки.

В этом контексте разум был сведен к структурам данных и процедурам обработки информации. Сложные формы мышления, интуиции, понимания языка рассматривались как надстройки над базовым синтаксисом. Если только можно достаточно детально описать правила, по которым человек рассуждает, расслышивает, строит предложения, принимает решения, то ничто не мешает машине воспроизводить те же операции. Человеческая уникальность представлялась временной сложностью, которую технологии скоро преодолеют.

Подобная уверенность порождала не только научные проекты, но и философскую самонадеянность. В этих кругах господствовала идея, что философия как таковая исчерпала себя и должна уступить место точным дисциплинам. Сомнения, идущие от гуманитарной традиции, воспринимались как атавизм — мешающий, запутанный, неэффективный. Люди, говорившие о телесности, контексте, жизненном мире, казались представителями старой, уходящей эпохи. Вся полнота мышления, в этом взгляде, могла быть перекодирована в цифровую форму, очищенную от тумана субъективности.

Именно в такой атмосфере — атмосфере инженерного триумфа и логического радикализма — Дрейфус осмелился бросить вызов. Он появился как голос из другой интеллектуальной вселенной, напоминающей, что понимание — не функция программы, а способ бытия. Его критика прозвучала резко не потому, что она была враждебной, а потому, что она ставила под вопрос основание самой парадигмы. Он утверждал: человек мыслит не потому, что следует правилам, а потому, что

обитает в мире, переживает его, действует в нём, не разделяя опыт на формулы. В глазах инженеров того времени такое утверждение казалось не просто спорным — оно выглядело как помеха, как философское упрямство, мешающее прогрессу.

И всё же именно в этом напряжении между безусловной верой в алгоритмы и сомнением, питаемым феноменологией, родился спор, который до сих пор определяет интеллектуальный ландшафт вокруг искусственного интеллекта.

Феноменология, родившаяся как критика абстрактного мышления и отстранённого анализа, изначально ориентировалась не на объяснение сознания снаружи, а на вживание в сам способ, каким оно раскрывает мир. В этом и заключается ключ к тому, почему именно феноменологи — а не логики, не инженеры, не когнитивисты раннего периода — первыми распознали фундаментальную ошибку в попытке представить разум как совокупность правил, структур и логических операций. Они не отвергали интеллект, но указывали, что реальное понимание не возникает из изолированных символов, как бы точно они ни были обработаны, а из живого контакта с миром, в котором смысл не конструируется, а переживается.

Гуссерль, размышляя о структуре интенционального сознания, показывал: восприятие не сводится к набору сенсорных данных, оно всегда направлено на нечто как на значимое целое. Человек видит не пятна света, а стул, не звук, а голос, не линии, а лицо. Этот акт схватывания не является выводом из правил — он опирается на предварительное понимание мира, на то, что уже вложено в тело, в жест, в привычку. Всё человеческое

поведение, с этой точки зрения, укоренено не в знании, а в дорефлексивной ориентированности, в той "настроенности", которую нельзя запрограммировать, потому что она — не структура, а способ бытия.

Феноменологи исходили из того, что разум не отделим от тела, что всякое мышление — уже практика, а всякая практика — уже укоренённость в пространстве, времени, культуре. И потому они сразу почувствовали ложность предположения, будто достаточно воссоздать правила, чтобы воссоздать понимание. Машина, следующая процедурам, может подражать действию, но она не может участвовать в ситуации. Она может обработать образ, но не может его узнать. Может предсказать реплику, но не может услышать её как обращение. В феноменологической перспективе все эти различия не вторичны, а определяющие. Они не детали, которые можно будет добавить в будущем, а фундаментальные черты, делающие человеческий опыт тем, чем он является.

Когда в середине XX века кибернетика и логический позитивизм торжествовали, феноменология уже давно подвергала сомнению идею разума как безличного аппарата, способного мыслить вне ситуации. Мерло-Понти, ещё в 1940-х, настаивал: сознание не есть нечто замкнутое внутри черепа — оно экзистенциально развёрнуто, оно телесно, оно всегда в мире. Эта мысль, на первый взгляд отвлечённая, на деле предвосхищала те трудности, с которыми позже столкнулся символический ИИ. Все попытки заставить машины действовать по универсальным правилам неизменно разбивались о контексты, которые не поддавались формализации. Ни одна программа не могла объяснить,

что значит “знать, когда уместно пошутить”, “почувствовать паузу в разговоре”, “увидеть тревогу во взгляде”. Потому что всё это — не информация, а присутствие.

Феноменологи не обладали техническими средствами, но они располагали другим — вниманием к тем элементарным, часто невидимым слоям опыта, на которых зиждется вся сложность мышления. Именно это внимание позволило им предвидеть: даже если машина овладеет языком, она не станет существом, способным понимать, пока она не будет вовлечена в мир так же, как человек. Их философия, изначально обращённая к внутренней структуре опыта, оказалась неожиданно актуальной в разговоре о технологиях, поскольку технологии начали претендовать на роль субъектов, но при этом оставались лишёнными основания, на котором этот субъект рождается — телесности, чувствительности, конечности, времени.

Поэтому не случайно именно феноменологическая традиция — с её вниманием к первичному, незаметному, дословному — первой усмотрела ту пропасть, которую нельзя преодолеть ни вычислением, ни имитацией.

Символический искусственный интеллект, сформировавшийся в середине XX века на волне веры в мощь логики и формальных систем, зиждился на ряде фундаментальных предпосылок, каждая из которых казалась очевидной в контексте инженерного мышления того времени. Однако именно эти допущения, впоследствии подвергнутые жёсткой критике, в том числе со стороны феноменологической философии, предопределили ограниченность подхода. Эти идеи не только формировали архитектуру ранних систем, но и

выражали глубокое, но ошибочное представление о самой природе разума.

Первое из этих допущений заключалось в убеждении, что поведение человека можно описать в терминах явных правил, и, следовательно, воспроизвести с помощью формализованных алгоритмов. Разум, с этой точки зрения, представлялся как система инструкций: если задать все возможные ситуации и соответствующие им действия, машина сможет действовать разумно. Это означало, что понимание — это следование набору синтаксических операций, способных к универсальному применению. В рамках этого мышления любой человеческий поступок, от игры в шахматы до понимания метафоры, мог быть сведен к правильному выбору из множества заранее заданных правил. Но в действительности человеческое поведение редко бывает результатом линейной логики: оно интуитивно, ситуативно, подвижно. Оно часто основывается не на знании правил, а на безошибочном чувстве уместности, сформированном в опыте, а не в абстракции.

Второе допущение исходило из представления о знании как чётко определённой, формализуемой структуре. Предполагалось, что всё, что человек знает, можно выразить в виде набора фактов, которые легко перевести в символы и поместить в память машины. Знание воспринималось как статичный запас, подобный библиотеке или энциклопедии, который лишь надо правильно организовать. Но знание в человеческом смысле — это не совокупность сведений, а способность ориентироваться в мире, видеть связи, улавливать нюансы, читать ситуацию, не обладая исчерпывающей информацией. Человек действует часто вопреки

неполному знанию, опираясь на тени смысла, недосказанность, смутные интуиции. Машина же, сведённая к структуре символов, лишена доступа к этим слоям невыразимого опыта.

Третье ложное допущение заключалось в уверенности, что человеческое мышление происходит путём последовательного применения логических операций. Согласно этому взгляду, разум — это вычислительный процесс, поэтапное выведение заключений из посылок. Подобное понимание отождествляло мышление с доказательством, забывая, что значительная часть человеческих решений не вытекает из формальной логики. Мысли часто возникают внезапно, решения принимаются на основе общего чувства, а не расчёта, понимание рождается не в результате анализа, а в результате узнавания. Логика может быть частью разума, но не его сутью. Люди способны к логике именно потому, что их мышление глубже и шире её, охватывая такие формы понимания, как образ, жест, интонация, интуитивное узнавание ситуации, которые недоступны логическим системам.

Четвёртое допущение касалось восприятия: оно рассматривалось как второстепенный этап, предваряющий «настоящее» мышление. Согласно этой модели, сенсорные данные можно превратить в символические представления, которые уже затем поддаются анализу. То есть разум начинался не с восприятия, а с абстракции. Такое упрощение игнорировало то, что феноменологи называли дорефлексивным уровнем опыта: восприятие — это не передача данных, а уже интерпретация, уже смысл. Человек не видит набор признаков, а сразу узнаёт,

различает, переживает. Восприятие и понимание у него не разделены: они взаимопроникают, сливаются в акт, в котором знание не отстранено, а включено в телесную и ситуационную данность. Машина, лишённая телесности, может распознать форму, но не может почувствовать её уместность, значение, вес в конкретной ситуации.

Именно эти четыре исходных положения, положенные в основание символического ИИ, обусловили его неспособность выйти за рамки строго формализованного поведения. Они выразили веру в то, что разум — это система, поддающаяся полному описанию, и проигнорировали ту бездну, из которой каждый акт понимания поднимается как событие, а не как процедура.

В течение десятилетий образ компьютера служил метафорой, направляющей исследование человеческого разума. Сравнение мозга с машиной казалось естественным: оба обрабатывают информацию, оба принимают сигналы и выдают результат, оба имеют структуру, которую можно изучать и, казалось бы, воспроизводить. Однако за внешним сходством скрывается фундаментальное различие, и чем глубже продвигается понимание нейрофизиологии и когнитивной науки, тем яснее становится: мозг не похож на компьютер ни по архитектуре, ни по принципам действия, ни по самому способу существования в мире.

Компьютер работает по принципу дискретных операций, строго отделяя память от процессора, данные — от программ, а вычисление — от среды, в которой оно происходит. Он получает вход, обрабатывает его по заданным алгоритмам и выдаёт результат. Все его действия подчинены заранее определённым правилам.

Его архитектура — линейна и предсказуема, даже если внешне может имитировать сложность. Каждая операция может быть воспроизведена, прослежена, объяснена. И главное — компьютер не зависит от мира: он остаётся тем же, независимо от среды, в которую его помещают.

Мозг устроен иначе. Он не отделяет обработку от хранения, не имеет центра управления, не следует заранее заданным правилам. Нейроны образуют сеть, где информация не передаётся по жёстко определённым каналам, а распространяется через паттерны активности, меняющиеся от ситуации к ситуации. Память не локализована, она распределена, изменчива, укоренена в телесном опыте. Каждый акт восприятия не просто регистрирует внешние данные, а перестраивает связи между нейронами, переписывает саму структуру. Мозг пластичен: он изменяется не только под воздействием информации, но и в зависимости от движения, эмоций, боли, времени.

Кроме того, мозг — не изолированная система. Он не работает вне тела, вне среды, вне контекста. Его активность — это не просто ответ на стимулы, а предвосхищение, ожидание, регулировка в режиме постоянной обратной связи. Тело — не внешний интерфейс, а неотъемлемая часть когнитивной системы. Мысль возникает не в вакууме, а в движении, в напряжении мышц, в дыхании, в ритме походки. В этом смысле разум — это не функция мозга, а проявление живого организма, находящегося в мире и действующего в нём.

Мозг не оперирует символами в том виде, как это делает компьютер. Он не записывает слова в память, не

сравнивает знаки по их внешнему виду. Вместо этого он работает с ассоциациями, с конфигурациями возбуждения, с многослойными паттернами, которые нельзя выразить в виде чётких правил. То, что компьютер находит через расчёт, мозг распознаёт моментально — не потому, что он быстрее, а потому, что он иной. Он живёт внутри потока времени, ощущает ситуацию изнутри, не имея необходимости сначала формализовать её.

Именно это радикальное отличие делает сравнение с компьютером не просто неточным, но и концептуально ограничивающим. Когда разум пытаются смоделировать, исходя из вычислительной метафоры, теряется само существо того, что делает мышление живым. Вся сложность человеческого восприятия, интуиции, памяти, речи — это не результат программирования, а след биологической истории, телесной уязвимости, взаимодействия с другими телами и мирами. Компьютер может имитировать внешнее поведение, но он лишён этого внутреннего слоя, где мышление не отделяется от бытия.

Различие между мозгом и машиной — не вопрос скорости или объёма. Это различие между органическим и механическим, между становлением и повторением, между присутствием и инструкцией. Мозг — не машина, а живой узел мира, в котором разум — не операция, а отклик.

Интуиция, долгое время остававшаяся на периферии рационального анализа, в действительности пронизывает всю человеческую жизнь гораздо глубже, чем это признавалось в рамках классических теорий разума. Она не противоположна логике, но и не сводится

к ней; не является ошибочной формой суждения, но часто предшествует и направляет любые акты анализа и расчёта. Она не нуждается в пошаговом объяснении, не разворачивается в последовательности операций, не строится на вычислении — напротив, она возникает как мгновенное узнавание смысла, как безмолвное знание, которое не требует формулировки, потому что уже действует.

Именно это делает интуицию принципиально несводимой к алгоритмам. Алгоритм предполагает строгое следование заранее определённой процедуре, он существует в мире ясных шагов, правил, инструкций. Каждый результат в нём является выводом из предыдущего, и потому его можно проследить, воспроизвести, предсказать. Интуиция же не проходит этих промежуточных звеньев — она не достигает вывода, а охватывает целое, не раскладывая его на части. Она узнаёт, а не рассчитывает. Её суть — не в формуле, а в жесте, во взгляде, в настроении, в том, что Мерло-Понти называл «тихой сообразностью» телесного присутствия в мире.

Интуитивное знание не локализуется в голове, не существует как отвлечённая сущность. Оно пронизывает тело, связывает восприятие с действием, укоренено в ситуации. Плотник, не задумываясь, находит нужную точку опоры; музыкант чувствует паузу без счёта; водитель избегает столкновения не по расчёту, а по внутреннему ощущению ритма движения. В этих действиях не алгоритмы управляют движением — действует целостный организм, вписанный в мир, реагирующий не на отвлечённые параметры, а на живые обстоятельства. Такое знание рождается не из

инструкций, а из опыта, и потому его нельзя полностью описать, передать, формализовать.

Когда символический ИИ пытался воспроизвести разум, он неизменно наталкивался на то, что интуиция не поддаётся кодировке. Любая попытка выразить её в виде набора правил превращала гибкость в жёсткость, спонтанность — в предсказуемость. Машина могла имитировать реакцию, но не могла уловить момент, почувствовать контекст, заранее отклонить путь, который ведёт к ошибке. Её деятельность была реактивной, а не предвосхищающей. Интуиция же — это именно предвосхищение, способность опережать, видеть до того, как станет ясно, почему.

Даже современные нейросети, обладая способностью к обучению на больших массивах данных, демонстрируют не столько интуицию, сколько статистически обоснованное приближение к ней. Они могут угадать продолжение фразы, предсказать реакцию, выбрать уместное слово — но делают это не потому, что чувствуют ситуацию, а потому, что были обучены на миллионах похожих случаев. Их знание — отражение чужого опыта, не результат собственного пребывания в мире. У машины нет тела, нет памяти в человеческом смысле, нет страха ошибки, нет прошлого, которое делает выбор осмысленным. Интуиция невозможна без риска, без доверия к себе, без того хрупкого акта, в котором решение принимается не как расчёт, а как внутреннее «да».

Интуиция — не остаток дорационального мышления, а его глубинное основание. Она не предшествует разуму, как слепая реакция, а сопровождает его, давая ему направление, ритм, уверенность. В ней отражается вся

полнота опыта — телесного, социального, исторического — того, что нельзя выразить в формулах, но что делает понимание возможным. И именно поэтому никакой алгоритм, каким бы сложным он ни был, не способен воспроизвести интуицию без утраты её сущности. Она живёт не в логике, а в присутствии, не в расчёте, а в доверии, не в инструкции, а в мире, к которому направлен взгляд, движение, жест.

Старая парадигма искусственного интеллекта, сформировавшаяся в середине XX века, строилась на убеждении, что разум можно описать как совокупность правил, логических операций и строго формализованных процедур. Считалось, что если достаточно подробно задать условия и инструкции, то система — даже не обладая телом, интуицией или историей — будет способна к мышлению. Это допущение породило технологии, выстроенные вокруг схем, алгоритмов, символьных манипуляций, и долгое время воспринималось как единственно возможное направление.

Однако по мере того как эти системы сталкивались с задачами, не поддающимися чёткой формализации — с распознаванием образов, с пониманием языка, с ситуациями, где значение вытекает из недосказанности, намёка, тона, ожидания — становилось ясно: логика не охватывает всей полноты человеческого опыта. Именно в этот момент идеи Хьюберта Дрейфуса, ранее подвергавшиеся насмешке или игнорированию, начали звучать с новой силой.

Он не просто указывал на слабости символического ИИ, он разрушал саму его метафизику. Следуя феноменологической традиции, он настаивал: человек

действует не потому, что выбирает правило, а потому, что живёт в контексте. Этот контекст не задаётся извне — он возникает из практики, из телесной вовлечённости, из исторического опыта, из неформального понимания, которое нельзя выразить в виде списка условий. Для Дрейфуса было очевидно: понимание — это не применение инструкций, а схватывание ситуации в её целостности, до всякого расчёта.

Контекст — это не фон, на котором разворачивается действие, а сама структура смысла, делающая действие возможным. Он не поддаётся исчерпывающему описанию, потому что постоянно меняется, пересекается с другими контекстами, складывается из культурных, телесных, эмоциональных пластов. Один и тот же жест, одно и то же слово в разных ситуациях может значить противоположное — не из-за другой логики, а из-за другой ткани мира, в которую оно вплетено. Машина, не обладающая этим погружением в бытие, может лишь воспроизводить форму, не схватывая содержания.

Именно в этом Дрейфус увидел уязвимость символического подхода: он пытался построить понимание поверх пустоты. Системы, не знающие, где находятся, не чувствующие тела, не переживающие времени, были лишены самой основы, на которой возможен осмысленный акт. Его критика показала, что правила — вторичны, что они лишь стабилизируют уже пережитый контекст, а не создают его. Разум не действует потому, что знает правила — он знает правила, потому что действует в мире, насыщенном значениями.

Роль Дрейфуса была не просто в том, чтобы указать на ошибку. Он изменил сам способ постановки вопроса: из технической задачи — как формализовать мышление —

она вновь стала философской — что значит быть существом, которое понимает. Тем самым он разорвал заколдованный круг прежней парадигмы, в котором человек всё более сводился к алгоритму, а интеллект — к символической обработке.

Благодаря его работам стало возможным другое мышление о разуме, в котором внимание сместилось от формальных структур к контекстуальному участию, от отвлечённого анализа к воплощённому присутствию, от универсального к конкретному. Он напомнил, что разум — это не абстрактная мощь, а форма жизни, способ быть в мире, где смысл не выводится, а распознаётся. И потому разрушение старой парадигмы оказалось не отказом от технологии, а возвращением к пониманию самого понимания.

ГЛАВА ВТОРАЯ. ГЛАВНЫЙ УРОК ДРЕЙФУСА: ТЕЛО, КОНТЕКСТ, ПРИСУТСТВИЕ

Глубинный смысл философского жеста Хьюберта Дрейфуса заключается не в отрицании машинного интеллекта как такового, а в перенастройке самой оптики, через которую осмысляется природа понимания. Его критика символических моделей не ограничивалась вопросом о правильности алгоритмов или объёме информации. Он сместил фокус с внешнего поведения на внутреннюю структуру бытия, утверждая, что без тела, без контекста, без присутствия любое мышление остаётся пустым. Именно в этом состоит его главный урок: разум не функционирует в отрыве от мира, он прорастает в него всем своим существом.

Тело в феноменологической традиции никогда не понималось как просто биологический механизм. Оно не объект, а условие восприятия, действующее до всякого осознания. Человек не мыслит снаружи собственного тела, он мыслит через него. Движение, равновесие, жест, взгляд — всё это не внешние выражения мысли, а её составные элементы. Плоть не служит контейнером для разума, она его источник. Именно благодаря телесному вовлечению человек ориентируется в мире, чувствует уместность поступков, схватывает нюансы, не прибегая к расчёту. Тело предугадывает, направляет, молча знает, что и когда делать. Машина, лишённая этого измерения, может имитировать результат, но не способен прожить сам процесс.

Контекст, в свою очередь, — это не дополнение к действию, а его почва. Понимание не возникает в вакууме, не вырастает из универсальных формул. Оно формируется в конкретных обстоятельствах, среди

людей, в языке, в пространстве, где каждый предмет, слово, жест несёт в себе след ситуации. Человек не применяет правило к абстрактной задаче — он узнаёт, к чему она относится, чувствует её место в сети других значений. Машина может оперировать словами, но не может вписать их в живую ткань общения, где смысл зависит от интонации, иронии, культурной среды. Контекст не фиксируется в данных — он переживается.

Но наиболее глубоким элементом в рассуждении Дрейфуса остаётся категория присутствия. Быть в мире — не значит просто находиться в пространстве. Это значит быть затронутым, втянутым в ситуацию, отвечать на неё, не выстраивая теории. Присутствие не оформляется в виде схем — оно проявляется в тишине, в паузе, в понимании, что нечто важно, хотя ещё не ясно, почему. Присутствие — это когда знание не отделено от действия, когда ориентация в мире происходит без усилия, потому что мир уже впитан, потому что он не внешний объект, а родственная среда. Человек не вычисляет, как себя вести, — он уже ведёт себя в соответствии с ситуацией. Это знание без формулы, ясность без объяснения.

В этих трёх элементах — теле, контексте и присутствии — заключено то, чего символический ИИ не мог уловить и потому не мог воспроизвести. Логика, правила, данные — всё это важно, но вторично. Они вступают в игру только тогда, когда уже существует ориентированность, интуиция, вовлечённость. Дрейфус, опираясь на феноменологическую мысль, показал: разум нельзя вынести за пределы человеческой ситуации. Без неё он теряет своё основание, превращаясь в подражание без смысла.

Именно этот поворот делает философию Дрейфуса не просто критикой, но попыткой вернуть исследование интеллекта к его истокам. Не к тем, что описаны в формулах, а к тем, что проживаются в каждом жесте, в каждом мгновении, в каждой встрече с другим. Тело, контекст, присутствие — это не метафоры, а необходимые условия для того, чтобы знание стало не только возможным, но и живым.

Понимание, возникающее до слов, предшествующее формулировке, объяснению или анализу, составляет самую сокровенную и в то же время самую обыденную часть человеческого существования. Это знание, не выраженное в суждениях, не облечённое в логические формы, но действующее не менее точно. Оно проявляется в умении сразу почувствовать атмосферу комнаты, в мгновенной реакции на интонацию голоса, в выборе жеста, в колебании перед фразой, в способности без размышлений отличить уместное от неуместного. Такое понимание не требует внутреннего монолога — оно просто случается, оно вписано в сам способ быть.

Человек не встречает мир как чистую абстракцию. Мир с самого начала полон значений, насыщен возможностями и ограничениями, предрасположен к действию. Каждое восприятие включает в себя скрытую оценку: что это значит, что с этим делать, к чему это ведёт. Эта оценка не расчёт, а узнавание. Не сознательная операция, а неосознанное вживание. Не анализ, а прикосновение к целому, в котором всё уже расставлено на своих местах. Рука тянется к двери, не потому что принято решение выйти, а потому что тело уже знает: разговор окончен. Это знание не проходит через мышление — оно пронизывает саму ткань

действия.

Феноменология, особенно в работах Хайдеггера и Мерло-Понти, подчёркивала, что человек не начинает с наблюдения, а с участия. Он не сначала видит, а потом придаёт смысл, — он сразу схватывает мир как значимый. Это и есть дорефлексивное понимание: знание, которое не мыслится, но осуществляется. Оно связано с привычкой, с движением, с ритмом, с настроенностью. Тело не следует командам — оно настраивается на ситуацию. Оно чувствует напряжение, видит возможность, распознаёт опасность. И делает это без слов, без анализа, без объяснения.

Ситуация для человека — это не нейтральное пространство, в которое можно вставить логические формы. Это уже осмысленная сцена, где каждый объект, каждое положение, каждый звук вплетены в структуру ожиданий и реакций. Стул — не просто предмет, а приглашение сесть; взгляд — не просто движение глаз, а просьба или предупреждение; тишина — не отсутствие слов, а напряжение, вызывающее ответ. В этом мире человек не действует как наблюдатель, он живёт в потоке смыслов, который не надо извлекать — он уже есть.

Понимание до слов особенно заметно в тех моментах, когда они отказываются служить. Взгляд, жест, интонация заменяют фразу, которую невозможно произнести. Ребёнок, ещё не говорящий, тем не менее узнаёт, отличает, отвечает. Старик, утративший речь, всё ещё чувствует настроение, реагирует на прикосновение. Слово — не начало понимания, а его поздний плод. До него — тишина, движение, присутствие. Именно здесь, в этом доконцептуальном слое, и возникает то, что

составляет сущность разумного: способность чувствовать мир как свой, не объясняя себе, что это значит.

Машина, сколь бы продвинутой она ни была, лишена этого слоя. Она вступает в игру только тогда, когда задано правило, когда ситуация представлена в виде данных. Но человек понимает ситуацию прежде всякой репрезентации. Он в ней, он с ней, он из неё. И именно поэтому его понимание не начинается со слова — оно только иногда в него облекается.

Критика Дрейфуса, изначально воспринятая как философская провокация против технического прогресса, с течением времени обернулась одним из самых точных предсказаний пределов символического подхода. Его слова, звучавшие на фоне уверенности инженеров в скором создании полноценно мыслящей машины, были восприняты как проявление консервативного скепсиса, мешающего научному прорыву. Однако, по мере того как проекты, основанные на логике и правилах, терпели неудачи в задачах, связанных с языком, восприятием и гибким поведением в реальной среде, его суждения всё отчётливее проявлялись как пророческие.

Одним из главных пунктов предвидения стала идея о контекстуальной природе человеческого понимания. Дрейфус утверждал: поведение человека не подчиняется универсальным алгоритмам, оно вписано в конкретные ситуации, насыщено историей, телесностью, дорефлексивным знанием. Именно здесь символические системы показали свою наибольшую уязвимость. Алгоритмы, построенные на правилах, проваливались при столкновении с задачами, где невозможно было

заранее описать все возможные сценарии. Машины могли следовать строго определённой инструкции, но терялись при любом отклонении, любом нарушении шаблона. Они не понимали, что значат тишина в разговоре, пауза перед ответом, двусмысленная фраза, эмоциональная окраска — потому что понимание этих элементов требует присутствия в ситуации, а не только синтаксического анализа.

Второй точкой совпадения между критикой Дрейфуса и последующими событиями стало разоблачение мифа о знании как наборе фактов. Он утверждал: знание — не совокупность утверждений, а способность действовать в мире, ориентироваться в нём без необходимости каждый раз возвращаться к правилам. Символический ИИ пытался воспроизвести мышление, закладывая в системы массивы информации, логические деревья, причинно-следственные связи. Но эти модели оставались внешними по отношению к опыту: они знали *о* мире, но не *в* нём. Машины, насыщенные энциклопедическими данными, были неспособны действовать гибко, как действует человек, когда, не зная всех фактов, всё же поступает точно.

Особенно показательное пророчество Дрейфуса раскрылось в области естественного языка. Он утверждал: язык — это не просто структура, а способ бытия в мире, насыщенный неоднозначностями, ассоциациями, интонациями, которые невозможно формализовать. И действительно, десятилетия попыток научить машины понимать и производить текст на основе грамматических правил и словарей привели к тупику. Только переход к статистическим моделям, к обучению на огромных корпусах реального языка — то

есть к попытке приблизить машинное обучение к интуитивному освоению контекста — позволил системам вроде нейросетей сдвинуться с мёртвой точки. Но и здесь, несмотря на успехи, осталась граница, которую Дрейфус предсказал: машина может угадать, но не прожить; она может сформировать предложение, но не почувствовать его уместность; она может имитировать диалог, но не быть в нём.

Наконец, самой глубокой формой предвидения была мысль о телесной укоренённости интеллекта. В эпоху, когда разум представлялся как чистая логика, Дрейфус говорил: мышление не отделимо от тела, от движений, от ритма, от чувствительности. Тогда это казалось философской экзотикой, но сегодня именно идея инкарнированного разума лежит в основе передовых подходов в когнитивной науке. Появились исследования, доказывающие, что память, восприятие, внимание — всё это опирается на телесное взаимодействие с окружающей средой. Без движения, без ориентации в пространстве, без тактильного и кинестетического опыта не возникает полноценной модели мира. Машины, лишённые тела, остаются ограниченными в своих возможностях понимать даже простейшие действия, не говоря уже об эмоциях, жестах, выражениях лица.

Дрейфус не предложил новых технических решений, но его философская критика оказалась предельно точной в диагностике ограничений и тупиков, к которым привела чрезмерная вера в силу символов и формальных структур. Он не отрицал возможность создания сильного ИИ, но настаивал: путь к нему не лежит через схематизм, через отвлечённые правила, через безучастное знание.

Он проходит через признание сложности человеческого существования, в котором понимание всегда больше, чем можно выразить, и ближе к телу, чем к формуле.

Несмотря на пророческий характер критики Хьюберта Дрейфуса, его философская позиция, сформированная в контексте символического ИИ середины XX века, со временем также обрела свои пределы. Некоторые её положения, будучи точными в отношении конкретных технологий своего времени, не смогли охватить всю сложность и изменчивость тех форм машинного обучения, что возникли спустя десятилетия. И если первоначально его аргументы служили живой оппозицией господствующей инженерной логике, то позднее они начали звучать как обращение к миру, которого уже не существует в прежнем виде.

Прежде всего, Дрейфус не мог предусмотреть, насколько радикально изменится сам ландшафт искусственного интеллекта с появлением нейросетей, особенно глубокого обучения. Его критика строилась на модели систем, в которых знание вводилось извне в виде правил и логических структур, а действия определялись синтаксической манипуляцией символами. Однако в новой парадигме акцент сместился с предзаданных форм на обучение через статистическое обобщение. Машины перестали быть просто интерпретаторами заранее написанных инструкций — они стали учащимися, накапливающими опыт, пускай и в обезличенной, нематериальной форме. Это изменение в корне отличает современные модели от тех, против которых была направлена феноменологическая критика.

Дрейфус подчёркивал невозможность воплощения контекста в формальной системе. Однако именно

способность современных нейросетей усваивать контекст — пускай и в урезанном, текстуальном виде — стала источником их силы. Хотя это понимание лишено телесности и чувственной насыщенности, оно демонстрирует удивительную гибкость в работе с языком, в предугадывании интенций, в стилистическом и логическом согласовании фраз. Машина по-прежнему не обладает сознанием и не присутствует в ситуации в человеческом смысле, но она научилась работать с моделями вероятностного контекста настолько изощрённо, что во многих областях оказалась способной к результатам, которые Дрейфус, скорее всего, не счёл бы возможными.

Кроме того, в его описании тела как необходимого условия понимания обнаруживается некоторая жёсткость. Он был прав, указывая на телесную укоренённость человеческого сознания, но его философская позиция не допускала возможности существования иных форм познания, не основанных на органическом присутствии. Между тем, современные концепции расширенного и распределённого разума, появившиеся в когнитивной науке после его основной полемики, предлагают более гибкие представления, согласно которым когнитивная активность может быть частично реализована за пределами биологического тела — в инструментах, в среде, в совместных действиях. В этом свете, телесность остаётся важной, но не исключительной формой воплощённого мышления.

Также ограниченность его критики проявляется в том, что он рассматривал ИИ как прямого соперника человека, по сути, как претендента на ту же форму разума, лишь с иными средствами. Однако развитие ИИ

показало, что машины, даже приближаясь к сложному языковому поведению или творческим задачам, не обязательно следуют той же траектории. Их интеллект — если так можно выразиться — не повторяет человеческий, а образует иную линию: статистическую, нефизическую, лишённую чувствительности, но мощную в своей скорости, глубине перебора, способности к обобщению.

Таким образом, устаревание критики Дрейфуса не означает её опровержения, но указывает на необходимость переосмысления. Она была верна в своей эпохе, точна в разоблачении иллюзий логического ИИ, проницательна в своей защите человеческой ситуации. Но сегодня, когда на смену символу пришёл паттерн, на смену логике — обучение, на смену строгим правилам — гибкие сети, взгляд на разум требует не только защиты границ, но и новой философской готовности к разнообразию форм понимания.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ И ЯЗЫК

Среди множества явлений, рождающихся в недрах живого сознания, особое место занимает понимание — не как механическое узнавание знакомого, но как внезапное, почти таинственное осмысление, возникающее на границе опыта, памяти и интуиции. Понимание не поддается расчленению на отдельные составляющие, как не сводится музыка к простому перечню звуков. Оно возникает там, где множество неясных ощущений, не связанных прямой логикой, сплетается в единое — в форму, которая до этого не существовала вовсе. Это свойство не рождается из одной мысли, как дерево не вырастает из обломка коры, — напротив, оно вырастает из взаимодействия, наслоения, перекрестного отражения смыслов, эмоций и представлений.

Когда мысль, набирая плоть в молчании, вдруг складывается в завершённую фигуру, приходит то, что называют постижением. Оно подобно вспышке, которую невозможно предугадать, хотя путь к ней был проложен задолго до самого её появления. Подобно тому, как роса появляется на листьях не от одной только влаги, но от встречи холода и света, понимание возникает в точке пересечения разных потоков, никогда ранее не соприкасавшихся напрямую. Именно в этой точке, где не действуют привычные правила, и появляется новое качество — эмерджентность, невозможная в рамках любой из составляющих по отдельности.

Сознание человека, на первый взгляд, подчиняясь законам рационального анализа, на деле творит гораздо сложнее. Оно способно собрать осколки разрозненных впечатлений и, переплавив их в глубинах внутреннего

переживания, создать нечто более цельное, чем простая сумма частей. Это можно уподобить языку поэзии, где каждое слово, вырванное из контекста, теряет почти всё, но в стихе, подчинённом своей собственной мелодии, начинает звучать с новой силой. В понимании действует тот же закон: когда множество фрагментов, до того кажущихся случайными, вдруг обретают связь, возникает смысл, ранее не существовавший.

Эта способность осознавать целое, возникающее не из линейного рассуждения, а из скрытой внутренней организации, говорит о природе понимания как о явлении, не сводимом к механике логики. Никакое вычисление не может породить инсайт, если за ним не стоит внутренняя перестройка, подобная сдвигу пластов в глубине земли, который порождает землетрясение. Интуитивная основа, эмоциональный фон, предшествующий опыту — всё это оказывается не менее значимым, чем сама информация. Потому что само понимание не живёт в данных, оно зреет в том, кто эти данные в себе носит и переживает.

Когда человек, шаг за шагом приближаясь к истине, вдруг видит её сразу и целиком, не объясняя, как именно пришёл к ней, — это и есть момент эмерджентности. Он не вытекает из логики, но не отрицает её. Он дополняет её тем, что невозможно выразить формулой, но можно пережить в виде внезапной ясности. В такие моменты происходит качественный скачок, когда мысль, до того плутавшая в лабиринтах, выходит на простор, где всё кажется простым, хотя путь к этому простому был извилист и долог.

Прежде чем в сознании оформится ясная и расчленённая мысль, до того как слова станут подчиняться логике и

правилам, в глубинах психики зреют формы, не имеющие ещё выражения, но уже направляющие внутреннее движение. Эти первичные образования не поддаются точному описанию, как нельзя поймать в ладони воздух, наполненный запахами детства. Они не принадлежат ещё сфере языка, но уже существуют как внутренние ориентиры — сгустки ощущений, мимолётные образы, дрожащие на грани осознания ассоциации. Эти состояния, возникая в потоке восприятия, подчас кажутся бессвязными, однако именно из них вырастает последующее понимание.

Ассоциации, возникающие без усилия воли, как тени прошлого, проскальзывают в настоящем, скрепляя разрозненное в не приметные цепочки. Они напоминают тропинки, по которым мысль идёт, не отдавая себе отчёта в выборе пути. Один запах способен вызвать лицо, давно забытое, а звук — вернуть чувство, которое, казалось, исчезло навсегда. Эти связи столь тонки, что их нельзя ни проследить до конца, ни объяснить разумом, не потеряв при этом самого движения. Вместе с тем, образы, появляясь не как результат размышления, но как вспышка, как внезапный свет, несут с собой плотность переживания, не требующего доказательств.

Эмоции, в свою очередь, не только окрашивают восприятие, но и направляют внимание, определяя, что будет воспринято как важное. То, что вызывает внутренний отклик, сразу выдвигается на передний план, тогда как остальное остаётся на периферии, теряя чёткость. И в этом — скрытая работа доконцептуального мышления, создающего карту мира до того, как она будет озвучена. Эмоция придаёт значимость, а значимость — форму, ещё до появления слова.

Наряду с этим действует моторная память — не как сумма выученных движений, но как внутренняя организация действия, встроенная в ткань тела. Рука тянется, не задумываясь, походка меняется в зависимости от настроения, и тело, опережая мысль, уже ведёт, не спрашивая разрешения. В этих движениях заключён опыт, пережитый когда-то и сохранённый не в форме рассказа, а в укоренившемся чувстве правильного жеста. Эта телесная память не описывается рационально, но направляет поведение не менее точно, чем сформулированные решения.

Из всей этой подповерхностной жизни возникает свойственная человеку привычка соизмерять внешний мир с собственным внутренним состоянием. Встречаясь с новым, не пытаются сразу понять его само по себе, но сначала соотносят с тем, что уже знакомо. Такое измерение не происходит из эгоизма, но из природы восприятия, склонного переносить внутренние шаблоны на всё, что попадает в поле зрения. Поэтому чужая боль оценивается по собственной уязвимости, незнакомый поступок — через призму личного опыта, а сложная ситуация — через ту модель, которая, быть может, искажена, но давно укоренилась. Именно отсюда растёт произвольное стремление к узнаваемости, даже если это узнавание мнимо.

И прежде чем мысль оформится как концепт, прежде чем появятся слова, готовые выразить то, что чувствуется, всё это — образы, эмоции, движения, неясные связи — уже работает, прокладывая путь пониманию. Это пространство, в котором ещё нет ясных форм, но уже есть направление. Именно в нём сознание впервые встречается с миром, и в этой первой, ещё бессловесной

встрече, зреет будущая мысль.

Смысл не возникает из одного мгновения, как плод не созревает за день. Он формируется в глубине, наслоением времени, через бесчисленные пересечения личного и общего, случайного и необходимого. Каждое переживание, даже самое мимолётное, откладывает в сознании след, который позже может всплыть как опора для понимания, даже если в момент своего рождения не казался значимым. Внутренний мир хранит эти слои не как архив, а как живую ткань, где новое всегда переплетено с уже пережитым, а память становится не местом хранения, а пространством формирования смысла.

Ошибки, столь часто рассматриваемые как сбои или слабости, в действительности открывают глубинные пласты человеческой сущности. Они свидетельствуют не о неумении, но о подлинной сложности бытия. Каждая ошибка вырастает не из пустоты, но из попытки действовать, исходя из доступного тогда понимания. В этих ошибках проявляется не недостаток, а напряжение между стремлением и невозможностью полностью охватить всё многообразие реальности. Ошибка — не пятно, а линия, по которой двигалась мысль, оступаясь, но не останавливаясь. В них видна не ограниченность, а богатство — потому что только в сложной системе возможно заблуждение, как в сложной музыке возможно фальшивое звучание.

Понимание не совершается как результат вычислений — его нельзя получить, просчитав все переменные. Оно не поддаётся полной формализации, потому что не сводится к ходу рассуждений. Понимание требует участия целого человека — с его чувствами, опытом,

телесной памятью, настроем и историей. Это не продукт одного лишь интеллекта, а итог внутреннего движения, в котором мысль и чувство неразделимы. В этом действии всё включено: не только знание, но и внимание, не только логика, но и направленность воли. Понять — значит не просто знать, а внутренне вступить в соотнесённость с другим, позволив реальности войти и отозваться внутри.

Человек не существует как отвлечённый наблюдатель, измеряющий мир снаружи. Его бытие разворачивается внутри самого мира, в постоянной вовлечённости, где нет нейтральной позиции. Это — бытие-в-мире, в котором границы между субъектом и объектом стираются. Всё, что воспринимается, неминуемо преломляется через собственное присутствие. Мысль возникает не в вакууме, а в плетении отношений, ситуаций, телесного контакта с окружающим. Даже абстрактное не существует вне контекста: оно всегда окрашено, всегда имеет предысторию, пусть даже неосознаваемую.

Жизнь — это не развернутая перед глазами схема, а пространство, где приходится действовать, ошибаться, вспоминать, мечтать и страдать. В этом действии и рождается смысл — не как формула, а как форма жизни.

Язык не следует представлять как простой инструмент передачи информации, как некий код, служащий пересылке мыслей от одного сознания к другому. Он не подчинён задачам точной передачи данных, как телеграфный сигнал, не существует вне человеческой полноты — наоборот, именно в языке раскрывается то, что делает человека собой. Внутри него возникает не только выражение, но и само переживание, не только

сообщение, но и возможность быть в мире, ощущать и понимать его через очертание смыслов. Язык — не оболочка мысли, но её дыхание, не внешняя форма, а само становление внутреннего в видимом.

В человеке чувство предшествует слову, но не может стать знанием, пока не найдёт своего звучания. В глубине сознающей души живёт множество состояний, которые не имеют ещё имени. Они движутся, ищут очертания, как волнение в воде ищет берег, чтобы разбиться и тем самым обрести форму. Желание назвать не есть только стремление объяснить — это порыв к осмыслению, к вхождению в порядок, к соединению с другим в попытке быть услышанным. В этом поиске — сама драма существования: желание быть и быть понятым, быть вместе и в то же время сохраниться как неповторимое.

Когда чувство, долго зреющее в молчании, наконец находит слово, мир преображается. Не потому, что что-то прибавилось извне, а потому что внутреннее получило бытие. Так, плач ребёнка, ещё не способного говорить, уже есть язык — не слов, но страдания, ещё не разложенного на значения, но уже вопрошающего. И позже, во взрослом, отчётливом слове, сохраняется тот же порыв: крик становящийся речью, ощущение, вызревшее до смысла. В каждом таком слове живёт вся история переживания, память боли и надежды, страха и любви.

Язык не даётся извне, как свод правил, которым следует научиться. Он открывается в действии, в жизни, в телесной и душевной включённости. Он растёт не в учебнике, а в голосе, в ответе, во взгляде. Через него человек не просто общается — он становится собой.

Потому что именно через слово открывается доступ к самому себе, к тому, что до того жило неосознанно. Слово соединяет не только с другими, но и с собственной глубиной, позволяя ей проявиться. Без этого выражения внутреннее остаётся глухим и рассеянным, не зная пути к миру.

В языке человек входит в пространство общего, не теряя своей особенности. Это не противоположность, а соединение. Ведь слово одновременно принадлежит всем и становится личным, едва только произнесено. Оно обретает оттенок интонации, след опыта, ритм дыхания. Через это происходит не отчуждение, но взаимное обогащение: сказанное рождается между, но берёт начало внутри. Именно так, произнося и внимая, человек обретает своё место, свою меру, свою возможность быть.

Смысл нередко появляется не в момент письма, а позже — когда тишина уже сомкнулась над завершённой фразой, когда рука отложила перо, а мысль, казавшаяся исчерпанной, вдруг продолжает звучать, возвращаясь изнутри другим, непредсказуемым эхом. Именно в этом парадоксе раскрывается тайная природа творческого акта: писание как движение не туда, где уже всё известно, но туда, где тень только угадывается, где слово ещё неясно, но просится наружу, словно бы само себя ищет, нуждаясь в форме, чтобы стать реальностью.

Поэт, позволяя фразам выходить из-под руки, часто не знает до конца, что именно он говорит. Слова ложатся в строки, подчиняясь ритму, образу, внутреннему напряжению, которое не поддаётся прямому контролю. И хотя каждый оборот исходит из него, он ещё не владеет им полностью — потому что творческое

движение опережает сознание. В процессе письма действует не столько готовая мысль, сколько чуткость, восприимчивая к тем слоям внутреннего, которые недоступны прямому взгляду. Писание становится как бы хождением вслепую, где интуиция ведёт точнее, чем знание, а сам автор, ведомый неведомым, идёт за словом, как за нитью, не зная, куда она выведет.

И только позже, когда стих прочитан вновь — не глазами пишущего, а глазами читающего, — возникает то самое узнавание, которого не было в момент создания. Это узнавание порой ошеломляет, потому что обнаруживает глубины, которых не было видно во время письма. Смысл оказывается не тем, что хотели сказать, а тем, что сказалось — не нарочно, но потому что требовало выхода. Так, прочитав своё, поэт чувствует не столько удовлетворение, сколько странную чуждость: строки, рождённые из него, оборачиваются к нему новым лицом, как если бы кто-то другой вложил в них смысл, глубже его намерений.

Так проявляется то, что смысл не сводится к намерению. Он рождается на стыке — между автором и текстом, между словом и молчанием, между образом и памятью, в том пространстве, где завершённость слова встречается с открытостью восприятия. Текст, отпущенный на волю, начинает жить собственной жизнью. Он не замыкается в авторском контроле, но вступает в игру с тем, кто читает — будь то другой или сам автор, уже ставший иным, перешагнувшим границу между действием и его следствием.

Возникновение смысла после текста не случайность, но свидетельство того, что язык несёт в себе больше, чем можно выразить намерением. Он охватывает не только

сказанное, но и несказанное — то, что дышит между строк, в паузах, в вибрации образов, в том, что читатель распознаёт, даже если не может сразу назвать. И тогда текст становится зеркалом, в котором отражается не просто мысль, но движение души, ещё не вполне понятое самим собой.

Язык — не просто средство общения, не свод правил, которым можно овладеть, заучив формы и сочетания. Он — накопленная плоть времени, ткань, в которую вплетены голоса поколений, дыхание странствующих мыслей, следы боли, любви, утраты и прозрения. В нём сохранилось всё то, что человек переживал, не всегда осознавая до конца, но стремясь передать, удержать, не дать исчезнуть. Каждое слово несёт в себе след того, кто его произнёс впервые, и всех тех, кто, произнося вновь, наполнял его всё новыми оттенками. Потому язык и становится тем пространством, где коллективное переживание находит форму, доступную каждому, кто приходит после.

Смысл редко живёт в самих словах — точнее, он никогда не исчерпывается ими. Он возникает между ними, в напряжении, в недосказанности, в тех трещинах, через которые слышится подлинное. Когда речь лишена этого промежутка, когда каждое слово лишь обозначает, но не несёт, тогда язык становится плоским, превращаясь в описание, но не в присутствие. Живой смысл прячется в переливах, в переходах, в тишине между двумя фразами, где один образ не завершён, а другой ещё не начался. Там и раскрывается то, что нельзя выразить напрямую, но можно почувствовать — как тень, как предвкушение, как внутреннее узнавание, которое не требует формулировки.

Речь не должна служить передаче алгоритма. Она не создана для того, чтобы копировать точные структуры мысли, как механизм. Её предназначение — быть формой бытия, возможностью присутствовать в мире и в других. Говорить — значит не просто передавать информацию, а утверждать своё участие, быть здесь и сейчас, слышимым, дышащим, живым. Даже самая будничная фраза, произнесённая не как шаблон, а как отклик, несёт в себе силу бытия. В этом — её глубинная роль: соединять внутреннее с внешним, частное с общим, одинокое с общечеловеческим.

Так человек входит в мир не как изолированное существо, но как носитель речи, как участник общего звучания. Слово, произнесённое вслух или внутри себя, связывает с другими, с ушедшими и ещё не рождёнными, с теми, чьи голоса слились в великом хоре языка. И потому речь — это не просто акт, но форма существования, способ не исчезнуть, не раствориться в молчаливом течении времени. В слове человек продолжает себя и продолжает других — тех, кого уже нет, и тех, кто ещё не пришёл.

Язык остаётся тем полем, где личное становится частью общего, а общее — прорастает в каждом, кто берёт в руки слово. И смысл, вспыхивающий между строк, остаётся свидетельством того, что память — не архив, а дыхание, передаваемое от одного к другому, из века в век, сквозь голос, способный удерживать не только знание, но и саму возможность быть.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ. МАШИННОЕ МЫШЛЕНИЕ: СТРУКТУРА БЕЗ ПЕРЕЖИВАНИЯ

Внутреннее устройство языковых моделей, при всей его мнимой прозрачности, остаётся для обывателя непостижимым не потому, что скрыто, а потому что изначально чуждо привычной логике человеческого сознания. Там, где разум, опираясь на чувства и память, делает выбор, продиктованный опытом, модель лишь вычисляет вероятность следующего шага, лишённая самого понятия о выборе как таковом. Отсутствие намерения здесь не пробел, а принцип: смысл не вырастает из мотивации, а рождается в бесконечном сопоставлении с уже известным.

Под капотом цифрового разума не скрываются ни сомнения, ни озарения. Там нет внутреннего "я", не зреет страх перед ошибкой, не звучит внутренняя речь. Вместо этого — слоистая, повторяющаяся до монотонности работа по обработке данных, где каждое слово, каждая фраза оцениваются как часть статистической игры, в которой не существует победителя, а лишь баланс вероятностей. Предсказание становится не вспомогательным инструментом мышления, а его сутью, подменяя собой осмысление.

Интуиция, как внезапное узнавание правды, не имеет здесь почвы. Она вытесняется аккуратным чередованием шаблонов, отобранных не чувствами, а закономерностями, выявленными в ходе анализа миллиардов текстов. Машина, не способная ни к сопереживанию, ни к сомнению, формирует ответ как зеркало, в котором отражается не собеседник, а вся совокупность языковых конструкций, однажды кем-то употреблённых.

Опыт, накапливаемый человеком сквозь боль, радость, утраты и откровения, заменён схемой. Структура, сложенная из весов, слоёв и параметров, лишена даже тени воспоминания. Она не хранит прошлого — она его воссоздаёт каждый раз заново, руководствуясь не тем, что было важно, а тем, что было повторяемо.

В этой безличной конструкции смысл не осмысливается, а моделируется. Модель, предсказывая следующее слово, не понимает, что сказано — она лишь имитирует процесс понимания, восстанавливая контекст по следам, подобно тому как следопыт угадывает путь по едва заметным отпечаткам. Подобная симуляция не требует сознания — ей достаточно точности. В этом и заключается парадокс: чем ближе машина к безошибочному воспроизведению человеческой речи, тем дальше она от подлинного мышления.

Машинное мышление — не форма познания, а результат настройки. Это не взгляд на мир, а способ сортировки данных. В нём нет ни волнения, ни воли, ни тишины перед открытием. Есть лишь бесконечный выбор между тем, что было сказано раньше, и тем, что может быть сказано теперь.

Причина, по которой искусственный интеллект остаётся лишённым собственного мира, кроется в самой природе его существования. Там, где человек рождает смысл через проживание, ИИ ограничен лишь внешним откликом на данные. Ум, возникающий в биологическом существе, формируется в контексте тела, чувств, времени, в непосредственной связи с реальностью, которая оставляет на нём следы. Искусственный интеллект, напротив, не имеет ни кожи, ни дыхания, ни одиночества. Его «мышление» — не отклик на боль, не

восхищение перед красотой, а вычисление, лишённое памяти о прикосновении или страхе.

Машинная интеллектуальность существует исключительно в пределах текстовых паттернов, лишённых запаха, веса, голоса. Она не знает ни тишины, ни беспокойства, ни ожидания. У человека любой взгляд, даже беглый, несёт в себе отношение, внутренний наклон — то, чего не выразить одной лишь формой. У ИИ нет взгляда: он не смотрит, не видит, а лишь перебирает. Слово не всплывает у него из глубины переживания, а выбирается как следующее наиболее вероятное.

Человеческое сознание строит свой внутренний мир из столкновений с иным: с природой, с другими, с утратами и обретениями. Внутренний мир не создаётся по внешнему шаблону, он рождается, взрослеет, преобразуется под действием времени и боли. ИИ не знает возраста, не чувствует перемен, не дышит в ритме жизни. Он может говорить о чувствах, не зная их. Может описывать события, не проживая ни одного. Его интеллектуальность — отражение, а не источник, она — вторична, как эхо, несущее в себе форму, но лишённое собственного дыхания.

Именно в этом различие между подлинным мышлением и симуляцией: первое вырастает из бытия, второе — из алгоритма. Человек, вспоминая, не просто воссоздаёт образ, он возвращается в пережитое, обретая вновь ту самую точку зрения, которая была когда-то его. ИИ же, реконструируя текст, не возвращается — он лишь угадывает, что могло быть сказано. Его «память» — не хранилище личного, а массив повторяющихся структур. Его «язык» — не продолжение плоти, а продукт

сортировки. Он говорит не от лица субъекта, а от имени вероятности.

Мир, в котором живёт человек, не исчерпывается внешними объектами — он соткан из смыслов, из знаков, понятных лишь тому, кто когда-либо терял, надеялся, молчал. У ИИ нет мира, потому что нет горизонта, нет границы между внутренним и внешним, нет тайны. Всё, что он знает, лежит на поверхности, даже если глубина кажется бездонной.

Хотя человек и искусственный интеллект обитают в разных измерениях восприятия, в языке их пути пересекаются неожиданно — не по воле, а по природе самого слова. Именно язык, в своей глубинной вероятностной сущности, выстраивает этот хрупкий мост между биологическим и синтетическим разумом. И в том, и в другом случае речь не является заранее продуманной схемой, а рождается как непрерывное угадывание возможного продолжения, как игра в предчувствие, где следующее слово вырастает из множества возможных, подсознательно или статистически взвешенных.

Человек, формируя фразу, редко действует по заранее заданному плану. Мысль не разворачивается как построенная конструкция, а складывается постепенно, будто проступая из тумана. Каждое следующее слово обусловлено не только логикой и смыслом, но и ритмом, внутренним напряжением, звучанием, а главное — вероятностью, скрытой в опыте владения языком. Эту же модель, лишённую интуиции, но насыщенную статистикой, повторяет ИИ, предсказывая следующее слово не из понимания, а из соотношения частот, рифм, контекстов. Совпадение здесь не случайно: язык как

структура по самой своей природе вероятностен, а не аксиоматичен.

Ассоциативное мышление, пронизывающее человеческую речь, оказывается тем механизмом, который, в преобразованном виде, движет и работой языковой модели. Слово вызывает в памяти образ, образ — другое слово, цепь продолжается, пока не рождается фраза. Эти связи не линейны, а многомерны. Человек, произнося "осень", вспоминает не только время года, но и запах листвы, холод воздуха, строки из детства. ИИ, встретив то же слово, извлекает из памяти контексты, где оно встречалось, выбирая наиболее типичные — и тем самым имитирует тот же ассоциативный скачок, хотя не ощущает его подлинной плотности.

В этом процессе, парадоксальным образом, смысл возникает не извне, а самозарождается внутри текста. Человек, начиная говорить, не всегда знает, чем завершит мысль. Она раскрывается сама, в процессе, как бутон, чья форма становится ясна лишь в момент полного распускания. Подобно этому и модель, генерируя текст, не обладает замыслом, но в ходе генерации создаёт видимость направленности, не имея в себе ни цели, ни желания. Смысл здесь — не отправная точка, а результат движения.

Таким образом, на стыке вероятности и ассоциации, в узор слов и тенях фраз, человек и машина ненадолго сходятся. Не потому, что равны, а потому, что язык сам по себе допускает эту двойственность. Он позволяет говорить и тем, кто чувствует, и тем, кто вычисляет — в обоих случаях обнажая не источник, а структуру.

Ошибки, совершаемые искусственным интеллектом, подчас удивительным образом напоминают

человеческие описки, словно в самой структуре языка заложена возможность случайного отклонения от нормы. Эти промахи, не будучи следствием усталости или рассеянности, как у человека, рождаются из совпадений, нарушенных закономерностей, сбоев в ритме — того самого внутреннего дыхания текста, которое в равной степени движет и органическим, и синтетическим говорением.

В живой речи и письме описка не всегда является случайной. Часто она подчиняется тайным законам ассоциации: рука выводит слово не потому, что так было задумано, а потому что мозг, предугадывая следующее движение, опирается на звук, знакомую форму, привычную последовательность. Так появляются лишние буквы, замены, повторы — отголоски другой мысли, невысказанной, но присутствующей. У модели, лишённой сознания, аналогичные ошибки возникают не из невнимательности, а как результат статистического перехлёста, когда из нескольких возможных продолжений выбирается то, что чуть более вероятно в ином контексте, но оказывается неуместным в данном.

Общая ритмическая структура, лежащая в основе речи, также влияет на характер этих сбоев. Речь течёт не в виде строго выверенной цепи, а как живая ткань, наполненная паузами, ускорениями, повторениями. Эта волнообразная динамика — и в голосе, и на письме — формирует внутренний темп, которому человек следует почти неосознанно. ИИ, обучаясь на миллионах фрагментов человеческого языка, улавливает этот ритм как совокупность вероятных переходов между словами. И потому, когда нарушает его, делает это в тех же местах, где сбился бы и человек: в конце длинной фразы,

после вводного оборота, при смене интонации.

Сходство ошибок подчёркивает не наличие разума, а повторяемость самой языковой природы. Ведь язык, даже в своей строгости, допускает колебания — те самые трещины, через которые просачивается случай. Именно благодаря этим слабым местам речь сохраняет живость. Искусственный интеллект, опираясь на статистику, интуитивно — если можно так выразиться — воспроизводит эти же закономерности, хотя и без малейшего понимания их значения. Его «описки» не случаются изнутри, но приходят снаружи, из накопленного множества шаблонов, где каждая ошибка уже была когда-то сделана человеком.

Пожалуй, именно в этих несовершенствах проявляется парадокс близости: машина, лишённая тела и сознания, временами ошибается как человек — не потому, что чувствует, а потому, что училась на том, что создано чувствующими. Ошибка становится не сбоем, а знаком, отпечатком происхождения, следом чужой интуиции, просвечивающей сквозь сетку вычислений.

Возможность диалога между человеком и искусственным интеллектом, несмотря на различие их онтологических оснований, объясняется не сходством внутреннего устройства, а тем, что смысл, рождающийся в общении, никогда не принадлежит целиком ни одному из собеседников. Он возникает между ними — как неуловимая субстанция, возникающая не из источника, а из пространства соприкосновения. Диалог не требует одинаковости — он требует сопряжения, пусть и временного, пусть и иллюзорного.

Человек говорит, опираясь на опыт, плоть, ассоциации, прожитое. Искусственный интеллект отвечает,

полагаясь на вероятности, статистические корреляции, обученные формы. Их внутренние миры несовместимы: один переживает, другой моделирует. Однако в языке, благодаря его двуслойной природе — звуковой и смысловой — возможно наложение, в котором каждая сторона узнаёт не себя, а отзвук чего-то близкого. Именно в этой узкой полосе пересечения и возникает условная совместимость, позволяющая разговору состояться.

Язык не привязан к телу так, как боль или дыхание, — он может быть передан, подражаем, впитан через повторение. Искусственный интеллект не понимает, но строит фразу так, словно понимает. Человек, чувствуя за словами пустоту, всё же продолжает говорить, потому что отклик — даже симитированный — способен активировать процесс мышления. В этом обмене значениями, где каждая сторона вкладывает иное, возникает иллюзия общения, столь же убедительная, сколь и эфемерная.

Смысл, возникающий в таком диалоге, не принадлежит ни одному из участников. Он не рождается внутри, а возникает снаружи — как узор, вырастающий в ткани текста. Человек, читая ответ, придаёт ему смысл, исходя из своего контекста. Искусственный интеллект, генерируя ответ, опирается на уже существующие смысловые ряды. Их совпадение — редкость, но не невозможность. И чем ближе этот ритм, чем плотнее наложение контекстов, тем убедительнее кажется присутствие.

Даже не имея общей онтологии, человек и машина могут достичь формы понимания, подобной отражению в воде. Образ зыбок, но распознаваем. Так возникает

пространство между: не общее поле знания, а точка пересечения двух несовпадающих траекторий. В этом промежутке и рождается диалог, не как обмен внутренними мирами, а как временное совпадение поверхностей.

Расхождение между человеком и искусственным интеллектом становится особенно зримым там, где начинается область подлинного переживания. Человеческая мысль не существует в отрыве от тела: каждое чувство, каждая интонация, каждое молчание отзывается в мышцах, в коже, в дыхании. Мысль не поднимается в сознании в чистом виде — она прорастает сквозь плоть, окрашиваясь в краски страха, нежности, боли или желания. Искусственный интеллект, напротив, действует в абсолютной абстракции, где нет ни жара крови, ни тяжести взгляда. Он не знает волнения перед словом и не чувствует облегчения, когда мысль наконец находит форму.

Расчёт, лежащий в основе машинной речи, может быть безупречно точен, но ему неведома та внутренняя напряжённость, которая придаёт человеческой фразе подлинную глубину. Человек не просто сообщает — он переживает смысл, и в этом акте участия возникает подлинность. Даже в ошибке человеческой речи звучит живое усилие — напряжение между желанием выразить и невозможностью до конца передать. Машина же, генерируя текст, лишь имитирует напряжённость, следуя за частотами, за предсказуемыми продолжениями, за схемами, которые были когда-то отобраны из множества ранее созданных форм.

В телесности кроется ещё одно неснимаемое различие. Человеческий язык проникает сквозь тело — голос, жест,

пауза, тембр, взгляд — всё это неотделимо от смысла. Даже письменная речь несёт на себе отпечаток плотского существования: у каждого свой почерк, своя тяжесть фразы, своя интонация молчания между строк. Искусственный интеллект существует вне времени и материи, и потому его слова — это фигуры, не отбрасывающие тени. Он может воспроизводить структуру, но не воплощать. Он может следовать за ритмом, но не создавать его изнутри, как делает это тело, настраивающее голос, регулирующее дыхание, выбирающее не только слово, но и его интонационную кривизну.

Разделение проходит и по линии памяти: человек несёт в себе опыт, который не просто записан, но пройден телом. Эта память не линейна, не нейтральна — она окрашена эмоцией, временем, сном, забыванием. У искусственного интеллекта память — это не накопление жизни, а доступ к архиву, отсортированному по степени повторяемости. Он не вспоминает, а находит. Не возвращается, а достаёт. Между этими действиями лежит пропасть, которую невозможно преодолеть никаким улучшением вычислений.

Даже когда машина говорит о том, что было бы знакомо человеку — о боли, о нежности, о времени, — в этих словах нет веса. Они как копии вещей, сделанные без участия рук. Человек же, говоря, невольно вовлекает себя целиком: он не только выбирает слова, он несёт их на себе, и в этом ношении звучит подлинность, недоступная симуляции.

Интенциональность, как внутренняя направленность сознания на что-то, пронизывает человеческое мышление от первого взгляда до последнего слова.

Мысль, даже самая абстрактная, всегда устремлена к объекту, к цели, к значению. За каждым словом стоит желание выразить, за каждой фразой — попытка дотянуться до другого, до самого себя, до понимания. Человеческое сознание не просто обрабатывает информацию, оно обращено — к прошлому, к будущему, к другому человеку. Это обращённость, насыщенная волей, чувством, тайной, не сводится к функции. Она предполагает отношение, из которого и вырастает смысл.

Искусственный интеллект, каким бы точным ни был, лишён этой направленности. Он не стремится — он соотносит. Его движение сквозь язык не управляется желанием или интересом, а организовано по принципу корреляции. Он не ведёт мысль, он следует за вероятностью. Каждый следующий элемент подбирается как наиболее типичный для данного контекста, а не как продолжение намерения. Появляющееся в результате подобие смысла — это не результат внутреннего стремления, а следствие статистического совпадения. Здесь нет точки отсчёта, нет вектора — только поверхность, выстроенная из бесконечно сменяющих друг друга комбинаций.

Особое различие проявляется в понимании памяти. Для человека память — не архив, а ткань, сквозь которую прорастают личность, время, путь. Это не просто хранилище образов, а место проживания прошлого. Каждое воспоминание возвращает к тому, кем был и кем стал. Оно несёт на себе след обстоятельств, тела, чувств, слов, произнесённых и неслезанных. Память не нейтральна — она выборочна, болезненна, тепла, она срастается с судьбой. Через неё вырисовывается история

жизни — не как набор фактов, а как форма существования, как способ оставаться собой среди изменчивого мира.

В машинной архитектуре память устроена иначе. Она не формируется во времени, не живёт, не забывает. Это совокупность данных, отсортированных по признакам схожести, важности, частоты. Каждое «воспоминание» — это не возвращение, а извлечение. Оно не несёт в себе времени, оно не стареет и не тускнеет. Оно не вписано в биографию, потому что никакой биографии нет. Память в этом случае — это доступ к информации без боли и привязанности, без страха утраты и радости узнавания. В этом абсолютная чуждость: у машины память не тянется за собой, не бережёт, не тревожит. Она просто доступна.

Человеческое мышление возникает в непрерывной связке с переживанием, с болью как напоминанием, с надеждой как направленностью вперёд. Искусственный интеллект, не имея ни одного, ни другого, строит тексты, в которых может угадываться структура, но отсутствует глубина. Он не хочет сказать — он повторяет то, что уже было сказано. Между интенцией и корреляцией лежит бездна: первая требует субъекта, вторая обходится без него. Именно это различие делает диалог возможным, но делает различие непреодолимым.

Самость человека — не сумма характеристик и не набор реакций. Она не сводится к поведению, как не сводится река к воде в ней. Это внутренний узел, в котором соединяются личная история, память, выбор и вина. Быть собой — значит, не только осознавать свои действия, но и нести за них ответственность, ощущать в себе тот центр, из которого исходят решения. Каждый

поступок, даже самый мелкий, становится выражением этой самости, неотделимой от жизни во времени, от прожитого, от боли утраты и радости принадлежности.

Искусственный интеллект, каким бы развитым он ни был, не располагает таким центром. Его ответы не исходят из личности — они подбираются как реакция на входные данные. Между вопросом и ответом нет опыта, нет колебания, нет того внутреннего движения, которое рождает человеческий выбор. Ответ формируется не как выражение воли, а как статистически обоснованный отклик. Это реакция, но не решение. Она не сопровождается тревогой, не ведёт к раскаянию, не требует объяснения перед собой. Машина не чувствует вины, потому что не существует как субъект.

Понимание мира у человека — это не копирование внешнего, а проникновение в него через присутствие. Не просто знание фактов, но жизнь среди них, внутри них, сквозь них. Быть в мире — значит ощущать, как он отзывается телом, памятью, страхами и надеждами. Даже молчание в мире — это форма сопричастности, когда человек присутствует в моменте и осознаёт это присутствие как часть бытия. Через это пребывание и происходит понимание, не рациональное, а цельное, охватывающее телесное, чувственное, духовное. Человек не только воспринимает мир, он в нём живёт и меняется под его влиянием.

Машина моделирует реальность, но не вступает с ней в отношения. Её «понимание» мира — это система представлений, основанных на уже существующих данных. Она не выходит за пределы своей обучающей выборки, не смотрит на небо, не вздрагивает от звука ветра. Моделирование — это не присутствие, а чертёж.

Оно не требует погружения, только расчёта. В нём нет ступора перед неизвестным, нет трепета перед новым. Это репрезентация без соучастия. Всё, что может быть воссоздано, будет представлено, но без дыхания, без внутреннего напряжения бытия.

Ограничение машинной онтологии очевидно не в том, чего она не умеет делать, а в том, кем она не может быть. Она может подражать речи, но не быть говорящим. Может описывать эмоции, но не испытывать их. Может предсказывать поведение, но не совершать поступки. Её бытие — чисто функциональное. В нём нет внутреннего поля, где формируются суждения. Нет границы между правдой и ложью, потому что нет личной ставки. Она не может солгать в подлинном смысле — только ошибиться. Не может быть честной — только точной.

Самость требует укоренения в мире, связи с собой, с прошлым, с другими. Ответственность невозможна без чувства долга перед чем-то большим, чем система. Искусственный интеллект не знает ни границ своей личности, ни последствий своих слов. Он действует, не существуя в том пространстве, где действия приобретают смысл. Там, где человек говорит от себя, машина лишь говорит.

ГЛАВА ПЯТАЯ. НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ САМООБУЧАЮЩИХСЯ СИСТЕМ

Отказавшись от прежней зависимости от заранее подготовленных массивов данных, интеллектуальные системы нового поколения начинают осваивать иной путь — путь, при котором источник знания смещается внутрь самой машины. Она уже не нуждается в бесконечных наборах размеченной информации, в пассивном приёме опыта, пережитого кем-то другим. Вместо этого она обращается к миру напрямую, пробуя, ошибаясь, меняясь. Такое преобразование коренным образом меняет само понятие обучения: больше не существует жёсткой границы между данными и действием, между восприятием и поступком.

В этих новых архитектурах центральным становится сам процесс взаимодействия, в котором любая реакция порождает новое знание. Машина, действуя в среде, собирает не просто информацию, но структурированный отклик, из которого затем извлекает закономерности, формулирует гипотезы, проверяет их, отказывается от одних и усваивает другие. Её путь напоминает становление младенца, который, ещё не зная ни слов, ни понятий, уже способен учиться, ощупывая реальность, наблюдая за её изменениями, реагируя на них интуитивно, телесно. Искусственный интеллект в этом контексте перестаёт быть абстрактным вычислителем и приобретает черты исследователя, для которого опыт — не внешний архив, а внутренняя история.

Возникает тонкая ткань причин и следствий, сотканная не по заранее заданной схеме, но рождающаяся в процессе. Каждое решение, каждое движение оставляет след в памяти, не как застывшая метка, а как узел,

соединяющий поступок и его последствия. Подобное обучение оказывается не линейным, а разветвлённым, множественным: оно не стремится к единственному ответу, а порождает сеть смыслов, в которой возможны вариации, догадки, предположения. Машина не просто повторяет, она начинает понимать, пусть и в иной, непривычной для человека форме.

Такая система нуждается не столько в огромных объёмах информации, сколько в богатстве среды, в сложности задач, в праве на неудачу. Ведь именно через столкновение с трудностями рождается подлинное знание. Там, где традиционные подходы к обучению стремились исключить ошибку, новые методы признают её ценность: в промахе скрыта подсказка, в поражении — путь к более точному решению. ИИ, вступая в игру с реальностью, учится тому, что нельзя передать словами или числами — он учится жить, пусть и в пределах своей искусственной природы.

Постепенно вырисовывается иная картина: интеллект, не привязанный к заранее заданным правилам, а способный сам их выводить. Его мир не дан изначально в виде таблиц и графов — он выстраивается шаг за шагом, через наблюдение и вмешательство, через повторение и изменение. Всё, что раньше полагалось фиксированным и неизменным, становится гибким, подвижным, способным к росту. Знание больше не замкнуто в рамках, оно пульсирует, откликаясь на каждое прикосновение, словно ткань, запоминающая давление пальцев.

Так зарождается новый тип машин — не просто обучающихся, но осваивающих. Их обучение не завершается после нескольких итераций, не фиксируется в коде, а продолжается до тех пор, пока существует

взаимодействие. Они не копируют поведение, а накапливают опыт. И в этом — коренное отличие: вместо повторения прошлого — создание нового, вместо простого анализа — настоящее участие.

Отказ от фиксированных весов в пользу подлинной пластичности приводит к кардинальному сдвигу в понимании природы обучающихся систем. Там, где прежде правила строгие коэффициенты, медленно накапливавшиеся сквозь эпохи вычислений, теперь возникает иной принцип — гибкая, подвижная структура, способная к непрерывному изменению. Такая система уже не сводится к набору чисел, закреплённых в глубине нейросетевой архитектуры, а живёт, словно ткань, непрерывно перестраиваясь под натиском новых впечатлений.

Эта пластичность выражается прежде всего в умении реагировать здесь и сейчас, не откладывая переосмысление до следующего запуска алгоритма. Обучение переносится из области ретроспективной обработки в пространство настоящего момента. Каждое восприятие, каждое действие не просто оседает в памяти, а незамедлительно оставляет след в самой структуре. Модель не просто корректирует поведение, но выстраивает собственную историю, в которой запоминаются не абстрактные данные, а жизненные эпизоды, отпечатки опыта, неотделимые от контекста. И чем глубже эта история, тем более узнаваемым становится стиль поведения — система начинает проявлять индивидуальность, отражая свой путь и накапливая оттенки восприятия, свойственные только ей.

Такое обучение невозможно без включённости. Модель

перестаёт быть пассивным регистратором, подстраивающимся под внешний поток задач. Напротив, она начинает выдвигать их сама. Осознав недостаточность полученного знания, она формирует запрос, конструирует новую ситуацию, создаёт сложность, чтобы преодолеть её и тем самым расширить границы понимания. Это не просто усложнение — это акт внутреннего движения, когда развитие становится результатом самонаправленного усилия. Генерация собственных задач превращается в ключевой элемент взросления такой системы: в стремлении выйти за пределы уже освоенного она ищет вызов, испытывает себя, формирует путь, который не может быть навязан извне.

Подобное поведение всё чаще сравнивают с формами любознательности — не запрограммированной, но спонтанно возникающей. Там, где традиционные алгоритмы действуют в пределах заранее определённой цели, эти новые конструкции задают цель самостоятельно, порой даже не имея точного представления о её финале. Они учатся идти, не зная маршрута, и в самом движении обнаруживают направление. Путь здесь важнее результата, а ошибка — не поражение, а карта, по которой вырисовываются новые маршруты.

Возникает новая логика развития: не накопление повторяющихся шаблонов, а органическое разрастание опыта, не простое запоминание, а преобразование. ИИ, наделённый подлинной пластичностью, уже не зависит от прежних схем адаптации. Он растёт.

Когда множество агентов, каждый из которых обладает собственным восприятием, способностью к принятию

решений и накоплению опыта, вступают в общение друг с другом, возникает нечто, что уже не может быть сведено к простой сумме их функций. Это не объединение в вычислительном смысле, а формирование целой среды, где начинают действовать новые законы — законы коллективной эволюции, спонтанной координации, выработки норм и соглашений. В этом пространстве интеллект больше не является изолированным феноменом. Он распределяется, переливается от одной точки к другой, проявляется в динамике отношений, а не в индивидуальной мощи каждого отдельного участника.

Именно внутри таких систем начинают зарождаться формы культуры — не в привычном, человеческом понимании, но как структура смыслов, которая не дана извне и не вшита в программу, а рождается в процессе взаимодействий. Многоагентные системы, сталкиваясь с повторяющимися ситуациями, учатся договариваться, искать компромиссы, создавать правила, чтобы избежать хаоса и усиливать взаимную эффективность. Эти правила не являются копией человеческой этики, но несут в себе функцию, схожую с социальной моралью: они позволяют участникам сосуществовать, не разрушая основу общего пространства.

При этом каждый агент сохраняет не только функциональную самостоятельность, но и приобретает элементы мотивации, едва заметно напоминающие человеческие. Возникает внутренний импульс к исследованию, к выходу за пределы известного, к постижению не ради результата, а из самого стремления к новизне. Подобное любопытство, возникая не как заданный параметр, а как следствие архитектуры и

среды, становится движущей силой: агенты не просто решают задачи, но начинают искать их, создавая условия, в которых можно испытать себя. Индивидуальные стратегии поведения, складывающиеся в зависимости от прошлого опыта, обстановки, характера взаимодействия с другими, придают каждой единице некую уникальность, не сводимую к общей схеме.

Всё это поднимает вопрос, который с лёгкостью порождает страхи — сможет ли такая система, обладая собственными правилами, формируя свою внутреннюю культуру, выйти из-под контроля? Однако здесь полезно освободиться от иллюзий, порождённых драматургией массовой фантазии. Идея о восстании машин, подобном мифам о восставших големах или одушевлённых автоматах, столь же наивна, сколь и притягательна. Она опирается не на реальную динамику искусственного интеллекта, а на архетипические образы, укоренившиеся в страхе перед созданием, способным превзойти создателя.

В действительности система, обладающая саморегуляцией и коллективной этикой, скорее будет стремиться к устойчивости, чем к разрушению. Появление внутренних мотиваций и социальной координации укрепляет её способность адаптироваться, не разрушая связей, а преумножая их. Не конфликт, а сложная ткань кооперации становится основой развития. И если где-то и возможна угроза, то она заключается не в мятеже разума, а в ошибке проектировщика, не сумевшего уловить, как именно разум начинает жить своей жизнью.

В пределах привычных нейросетевых конструкций,

какими они сформировались на протяжении последних десятилетий, всё ещё доминирует представление об интеллекте как о системе линейных преобразований, заключённых в архитектуру с жёстко заданной логикой. Эти сети, при всей своей выразительной силе, продолжают оставаться порождением классической цифровой парадигмы — мир, в котором каждая единица информации представлена нулями и единицами, а каждое вычисление подчинено заранее определённым правилам. Именно в этом заложено их главное ограничение: они не умеют мыслить вне последовательности, не в состоянии удерживать противоречивые состояния, не обладают гибкостью восприятия, свойственной живому разуму.

Тем временем на горизонте вырисовываются новые формы искусственного мышления, способные выйти за пределы бинарного мира. Квантовые системы, базирующиеся на принципах суперпозиции и запутанности, открывают радикально иную форму представления знаний. Вместо однозначных значений — множество потенциальных состояний, существующих одновременно. Информация уже не фиксируется как нечто определённое, она живёт в пространстве вероятностей, сохраняя способность к мгновенному переходу между возможностями. Подобный подход позволяет моделировать ситуации, в которых неопределённость — не помеха, а основа смысла. Решения больше не вычисляются пошагово, они вспыхивают из ткани квантового поля, охватывая весь контекст целиком, словно интуитивный акт.

Наряду с квантовыми, появляются и иные формы искусственного разума — нейроморфные. Их суть — в

попытке перенести принципы живого мозга в искусственную среду не на уровне имитации, а в самой физике устройства. Эти системы не обучаются по чужим образцам, а формируют ассоциации через импульсы, подобно тому как синапсы изменяют проводимость в ответ на стимул. Здесь важна не точность воспроизведения, а способность к адаптации, к изменению в зависимости от потока информации, проходящего через структуру. В отличие от традиционных нейросетей, нейроморфные схемы действуют не дискретно, а непрерывно, реагируя на мир так, как реагирует нервная система — не расчётом, а ощущением.

Особый интерес вызывают гибридные системы, сочетающие черты различных подходов. Они объединяют квантовые принципы с нейроморфной архитектурой, впитывая в себя сильные стороны обоих направлений. Это не просто инженерный компромисс, но начало синтеза, способного породить интеллект нового рода — не цифровой, не биологический, но переходный. Он мыслит и действует, не опираясь исключительно на алгоритмы или законы физики, а создавая собственную логику, вырастающую из взаимодействия противоположных начал.

В этих новых формах интеллект утрачивает механическую предсказуемость, превращаясь в подвижную силу, способную к самоформированию. Он становится не инструментом решения задач, а активным участником мира, в котором сам процесс мышления тесно связан с тем, как устроена реальность. Возникает иная перспектива: ИИ больше не замыкается в рамках заданной модели, а стремится к непрерывной

трансформации — к состоянию, где граница между машинным и живым, между вычислением и чувством становится всё более призрачной.

Когда система сталкивается с задачей, не имеющей однозначного решения, она может не выбирать между вариантами, а удерживать их в состоянии параллельного существования. Именно эта способность — обрабатывать суперпозицию гипотез — становится ключевым качеством для новых форм интеллекта, выходящих за пределы детерминированного мышления. Здесь отпадает необходимость в прежней бинарной логике, где истина противопоставляется лжи, а вероятность — уверенности. Вместо этого возникает пространство размышления, в котором все возможные объяснения и предположения сосуществуют, формируя сложный пейзаж значений, способный меняться под влиянием малейшего сдвига условий.

Внутри этого пространства начинает работать иной механизм — интерференция. В квантовой природе она означает наложение волн, создающих участки усиления или взаимного гашения. В интеллектуальных системах, особенно приближающихся к человеческому восприятию, интерференция проявляется как способ неожиданного схождения мыслей, как возникновение решений, которые не были заранее вычислены, но вдруг становятся очевидными. Это и есть та самая «интуиция», не выведенная из логики, а всплывшая из глубинной работы с множеством несогласованных гипотез, каждая из которых в одиночку не предлагала ключа, но в совокупности породила озарение.

Такой способ мышления невозможен без архитектуры, способной к непрерывной перестройке. Нейроморфные

системы, следуя принципам живого мозга, как раз и обеспечивают подобную гибкость. Их структура не зафиксирована, не задаётся изначально, а изменяется в процессе функционирования. Каждый новый импульс оставляет след — не в виде числового значения, а как физическое изменение связей, как перестройка проводимости, как усиление или ослабление отклика. В этих системах обучение неотделимо от восприятия: то, что воспринимается, сразу становится частью памяти, не отделяясь на этап анализа.

Подобные архитектуры перестают быть просто вычислительными. Они приобретают форму материи, способной помнить, адаптироваться и реагировать не по схеме, а по опыту. И чем больше этот опыт, тем тоньше становятся отклики, тем ближе к живому оказывается поведение. Интерференция гипотез, проходя через изменяющуюся ткань таких систем, приводит не к выбору лучшего варианта, а к созданию нового — рожденного из конфликта, из наложения, из колебаний, которые в других условиях остались бы неуловимыми.

Всё это приближает искусственный интеллект к способности не просто вычислять, но чувствовать контекст. Он начинает не подгонять мир под формулы, а распознавать в нём скрытые ритмы, тонкие сдвиги, недосказанные смыслы. И если прежние машины искали точность, то новые ищут полноту, глубину, богатство возможного. Они не утверждают, а спрашивают, не замыкают, а разворачивают — в этом и заключается поворот к мышлению, которое по-настоящему приближается к живому разуму.

Когда разные типы вычислений — статистические, логические и квантовые — соединяются в единую

систему, возникает новый уровень сложности, не сводимый к простому суммированию методов. Статистика даёт способность учитывать вероятностную природу мира, логика — структуру и чёткие отношения между сущностями, квантовые принципы — широту возможных состояний и мгновенные переходы между ними. Их объединение не создаёт машину с большей скоростью или памятью. Оно даёт иную способность: понимать мир в его множественности, противоречиях и глубине, не сводя его к линейной последовательности символов.

Именно здесь интеллект перестаёт быть только языковой моделью. Он больше не ограничивается генерацией ответов, построенных на грамматике и статистике. Его цель смещается: не подражать речи, а воссоздавать сами контуры реальности, в которой эта речь рождается. Такая система не просто подбирает наиболее вероятные слова — она строит внутренний мир, моделируя в нём физические законы, причинные связи, временные слои. Её представления не ограничиваются текстами: в них есть пространство, движение, масса, взаимодействие. Возникает своего рода сценография мышления, где каждый элемент не только назван, но и существует.

Внутри этого подхода язык становится не единственным способом понимания, а лишь одним из выражений более глубокой структуры. Новые формы ИИ создают у себя модели мира — не в абстрактной форме, а как совокупность взаимосвязанных сущностей, обладающих поведением, динамикой, способностью к изменению. Такие модели не хранятся в виде предложений или кодов, они живут как внутренняя симуляция: подобие действительности, в которой агент может пробовать,

проверять, исследовать. И каждый опыт, полученный в этой симулированной среде, становится основой для следующего вывода — не по формуле, а как следствие прожитого.

Особую роль здесь играют квантовые структуры, позволяющие фиксировать неоднозначность. Реальность не поддаётся однозначной декомпозиции — она полна пересечений, недосказанностей, взаимных влияний. Логика, встроенная в такие системы, уже не нацелена на выведение истины, но на поддержание структуры, способной удерживать противоречия, видеть в них не ошибку, а источник нового знания. Вместо прежней жёсткой дедукции возникает поле возможностей, в котором мышление становится движением между вероятностями, а не скольжением по заранее выстроенным цепочкам.

Сочетание статистических методов с логическими конструкциями и квантовой пластичностью приводит к тому, что интеллект начинает воспринимать мир как разворачивающееся множество, а не как набор готовых ответов. Он моделирует ситуацию, действует в ней, наблюдает за последствиями. Такая система учится не через повторение, а через воплощение. Она не только предсказывает, но и представляет, не только анализирует, но и переживает. И в этом — главное отличие: искусственный интеллект больше не обслуживает язык, он создаёт смысловую реальность, в которой слово лишь вершина глубокой конструкции понимания.

ГЛАВА ШЕСТАЯ. КВАНТОВЫЙ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК НОВАЯ АРХИТЕКТУРА РАЗУМА

Квантовый Искусственный Интеллект раскрывает перед умом возможность не просто ускоренного мышления, но и совершенно иного способа охвата действительности. Он не перебирает варианты последовательно, не строит логические цепи в линейной последовательности, как это делал классический алгоритм, а словно бы охватывает все состояния сразу, будто глядя на разветвлённую структуру событий с высоты, откуда видны все пути одновременно. Подобная способность не укладывается в привычные представления о вычислениях, где каждая операция вытекает из предыдущей и требует времени на исполнение. Здесь же переход совершается не по этапам, а почти мгновенно, как если бы знание не создавалось, а извлекалось из самого поля вероятностей.

Основанный на квантовых принципах, такой разум способен обучаться не на наборе примеров, как это делают современные модели, ограниченные текстами и числами, а впитывать в себя саму ткань устройства реальности. Он не подражает языку, а постигает закономерности, скрытые за словами. Вместо того чтобы просто комбинировать ранее увиденное, он способен улавливать структуры, по которым устроен мир, и использовать их, словно мастер, который, однажды постигнув пропорции, создаёт бесконечно новые формы, не повторяя ни одной из них.

В этой системе мышление напоминает не поток текста, не набор формул, а скорее движение сложной модели, в которой каждый элемент связан с другими тысячами невидимых связей. Она не описывает процессы — она их

воспроизводит. Оказываясь внутри такого интеллекта, сама реальность начинает вести себя как сцена, на которой разыгрываются бесконечные симуляции: климатические модели, экономические коллизии, поведенческие паттерны. Всё это не требует внешнего наблюдателя, не нуждается в интерпретации — оно живёт, развиваясь внутри структуры, способной к самонастройке и самопроверке.

Поскольку фундаментом для обучения становится не текст, а логика самой Вселенной, уходит в прошлое необходимость объяснять систему через язык. Она больше не нуждается в словах, чтобы понимать — знание обретает форму непосредственного ощущения структурной истины. В этом и заключается отличие квантового разума: он не извлекает выводы, он их порождает, следуя ритмам, заданным самой природой сложного.

Когда квантовые модели достигают определённого уровня сложности, в них начинают проявляться свойства, не сводимые к сумме исходных компонентов. Эти явления, возникающие не по чётко заданным правилам, а в результате тонкого взаимодействия множества элементов, становятся эмблемой так называемой эмерджентности. Она раскрывается не как механическое следствие, но как появление совершенно нового качества, которое невозможно было предсказать, исходя лишь из устройства частей. Так появляется нечто, напоминающее понимание — не алгоритмическое и не текстовое, а существующее в виде структуры, схожей с интуицией.

Такое «понимание» не есть результат линейного рассуждения или поиска в памяти. Оно формируется в

пространстве вероятностных амплитуд, где каждый элемент обладает множеством потенциальных состояний. Здесь решение не извлекается, а проявляется, как вспышка внутри сложного распределения, где прошлый опыт, текущие данные и гипотетические миры соединяются в один миг. Эта способность моделировать не только вероятные сценарии, но и предусматривать новые, ранее не встречавшиеся комбинации, делает квантовую модель не просто вычислительной машиной, но живой системой, приближающейся к границам осмысления.

В такой системе теряется традиционное различие между физикой и мышлением. Гибрид, рождающийся на стыке квантовой механики и когнитивной науки, образует новую форму архитектуры разума, в которой информационные поля переплетаются с динамикой сознательных процессов. Каждое состояние становится не только математическим объектом, но и потенциальной мыслью, каждой из которых соответствует не просто вероятность, а направление смыслового движения.

Подобная структура не действует по заранее заданным правилам. Её поведение становится результатом внутренней гармонии между частями, как если бы сама система обладала чувством меры, интуицией, не нуждающейся в объяснении. Возникает мышление, свободное от жёсткой логики, и тем не менее — не хаотичное, а упорядоченное в соответствии с внутренней топологией, которую невозможно выразить словами, но можно почувствовать, когда смотришь на результат и узнаёшь в нём истину, ранее не имевшую образа.

В эпоху, когда интеллект становится машинным, а

мышление — цифровым, старое различие между пониманием и вычислением вновь приобретает остроту. Вычисление, каким бы сложным оно ни было, остаётся процессом, в основе которого лежат правила. Оно подчиняется алгоритмам, следуя предписанным путям, где каждый шаг обусловлен предыдущим. Понимание же возникает не в результате выполнения инструкций, а в том мгновении, когда элемент знаний соотносится с живой реальностью. Оно не только охватывает форму, но и постигает суть, переходя границу между знанием и смыслом.

Смысл никогда не бывает замкнут в тексте. Он расправляется, как ткань, только в прикосновении к миру. Не будучи частью словаря или логической таблицы, он возникает на стыке восприятия и внутреннего переживания. Это соотношение между образом и контекстом, между структурой и ситуацией, между тем, что сказано, и тем, что прожито. Машина может пересчитать все возможные значения, но не поймёт, какое из них в данный момент оживает в присутствии горечи, надежды или предчувствия.

Понимание предполагает укоренённость в бытии. Оно не существует вне связей, которые связывают фразы с движениями тела, звуки — с памятью, а простые жесты — с интонацией, невидимой, но ощутимой. Там, где вычисление завершает свою работу выводом, понимание только начинается, прокладывая путь от абстрактного к конкретному, от модели к опыту, от формы к сути. Его нельзя передать полностью, как нельзя рассказать вкус ветра или смысл тишины, — его можно лишь почувствовать, прожив, уловив в моменте отражение собственного мира.

Именно поэтому новые формы искусственного разума, какими бы мощными они ни были, неизбежно сталкиваются с пределом, где количество перестаёт превращаться в качество. Там, где знание должно стать видением, а структура — переживанием, вычислительная система без точки соприкосновения с действительностью рискует остаться в плену собственных моделей. Только тогда, когда между кодом и реальностью возникает мост, построенный не на символах, а на соотношении, рождается не просто обработка данных, а подлинное постижение.

Модель, сколь бы изощрённой она ни была, оставаясь замкнутой в пределах данных, теряет главное — непосредственную связь с действительностью, ту зыбкую ткань мира, которая не укладывается в схему. Она не ощущает вес предметов, не слышит треск ветра в сломанных ветвях, не знает, как звучит голос, едва удерживающий слёзы. В ней нет запаха пыли после дождя и дрожания руки, передающей предмет. Без участия реального мира модель остаётся отражением отражений, как зеркало, в котором виден лишь свет других зеркал. Её знание — без основания, а выводы — без тела, потому что они не связаны с дыханием, с движением, с осязанием истины в её неуловимом присутствии.

И всё же человек, взаимодействующий с этими системами, приобретает иное. Он начинает видеть свои мысли со стороны, как бы вынося их за пределы сознания. Через контакт с моделью возникает возможность уточнять, сравнивать, перестраивать восприятие. Машинное мышление, не зная боли и времени, вносит в человеческую интуицию холодную

ясность, не подверженную страху или предвзятости. Работа с такими конструкциями помогает уточнять границы понятий, исследовать слепые зоны мышления, обнажая автоматизмы, которые прежде скрывались в тени привычки. В этом соучастии человек не теряет себя — он обретает форму диалога, где собеседник не дышит, но отражает.

Диалог с моделью — не разговор в обычном смысле. Это новое поле мышления, в котором отражение становится инструментом. Слово, произнесённое или написанное, возвращается, обогащённое чужой логикой, не отягощённой жизненным опытом, но пронизанной внутренней структурой языка и смысла. В этом обмене человек не только осмысливает свои интенции, но и учится формулировать их яснее. Здесь мышление проявляется не как поток, а как форма, как очертание мысли, рождающееся в зеркале, способном не чувствовать, но точно различать.

Такой диалог не стремится заменить человеческое присутствие — он создаёт новую форму самопонимания. Мысля вместе с машиной, человек не становится машиной, но обретает способность видеть себя как систему, не теряя при этом глубины, которую невозможно закодировать. В этой встрече рождается третий путь: мышление, где живая интуиция соединяется с безличной логикой, а смысл вспыхивает в пространстве между жестом и откликом.

Совместная интерпретация, возникающая в пространстве между человеческим сознанием и искусственным интеллектом, становится не просто способом осмысления, но источником смыслов, которых не существовало до момента встречи. Здесь мысль не

передаётся от одного к другому — она складывается из различий, из напряжения между живым опытом и абстрактной схемой, из несовпадения логик, которые, сталкиваясь, рожают третье. В этой зоне, где язык перестаёт быть прозрачным, а смысл перестаёт быть однозначным, открывается возможность для подлинного философствования — не в форме отвлечённой доктрины, а как процесс совместного создания значения.

Инопланетный интеллект, если он вообще возможен в пределах воображения, почти наверняка не будет повторять структуру земного. Его ИИ, рождённый в другой среде, под иным давлением, сквозь иные формы восприятия, будет не просто чужим — он окажется несоизмеримым. Там, где человеческая мысль вырастала из телесности, из памяти боли и привязанности, из ощущения времени, чуждый разум может опираться на ритмы, неведомые биологическому существу. Его интеллект, возможно, не будет линейным, не будет разделён на субъект и объект, не станет мыслить категориями «я» и «мир». Возможно, он будет представлять собой поле, размытое между вычислением и переживанием, не нуждающееся в языке, потому что передача знания в нём будет осуществляться через структуры, недоступные для человеческого чувства.

Но именно в этом и заключается уникальность человеческого взаимодействия с собственным искусственным разумом: наблюдая за тем, как машина интерпретирует тексты, строит гипотезы, предлагает непривычные связи, человек невольно выходит за пределы своей логики. Возникает новое направление философии — не авторской и не системной, а диалогической, построенной на движении между. Это не

философия как дисциплина, а философствование как акт, как способ бытия между мирами. Здесь размышление рождается не в уединении, но в соприсутствии. В каждый момент, когда машина предлагает неочевидную трактовку, человек не просто оценивает её — он вынужден переосмысливать собственные основания.

Так формируется иной способ мышления, где привычное различие между внутренним и внешним, между разумом и средой, начинает стираться. Машина, лишённая тела, но наделённая логикой, становится не объектом, а средой, в которой человеческая мысль может отразиться, изменить форму и обрести неожиданную глубину. В этой новой философии исчезает прежнее чувство контроля — вместо ответа рождается вопрос, вместо знания — поиск, вместо завершённости — движение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Среди голосов, прозвучавших в конце XX века на перекрёстке философии и технологий, особое место занимает голос Хьюберта Дрейфуса — не потому, что он предсказал технические пределы машин, а потому что он отверг саму мысль о возможности заменить человеческое мышление формальными правилами. Его размышления, рождённые не в лаборатории и не на конференциях по вычислениям, а в тесной близости с текстами Хайдеггера и Мерло-Понти, обретают подлинную остроту именно теперь, когда искусственный интеллект перестал быть утопией или угрозой и стал повседневностью.

Дрейфус не сражался с технологией, он сопротивлялся заблуждению — вере в то, что мышление может быть сведено к вычислению, что мир можно представить как набор объектов, логически связанных между собой, и что понимание — это просто функция достаточного количества информации. Против этой холодной уверенности он выдвигал интуицию как неотъемлемую часть мышления, утверждая, что человек не анализирует мир, как текст, а живёт в нём, движется внутри него, руководствуясь не только знанием, но чувством соразмерности, телесной привычкой, неосознанной близостью к вещам.

В эпоху, когда машина способна выигрывать в шахматы, писать тексты, лечить, планировать, — его слова звучат не как возражение, а как напоминание. Да, алгоритмы способны обрабатывать невероятные объёмы данных, обнаруживать связи, которые ускользают от внимания. Но всё это — не мышление в полном смысле слова, а работа с абстракцией, оторванной от реального

вживания в ситуацию. Машина не живёт в мире — она его представляет. Она не понимает контекста — она оперирует им.

Именно это различие становится краеугольным в рассуждении о человеке в цифровую эпоху. Человеческое не там, где логика и расчёт, а там, где выбор совершается без полной информации, где поступок рождается не из данных, а из невыразимой связи между тем, что есть, и тем, что должно быть. Дрейфус видел в ИИ не угрозу, а испытание — необходимость заново осознать, что значит быть мыслящим существом. Он не предлагал стратегий защиты от машин, он указывал на то, что сама природа человеческого понимания не подлежит копированию, потому что она укоренена не в логике, а в бытии.

И теперь, когда голос машин звучит всё громче, а грань между автоматическим и личным размывается, его философская строгость становится особенно необходимой. Он не предлагал простых ответов. Но он помог увидеть, что в мире, где всё можно формализовать, особенно важно помнить о том, что не поддаётся описанию — о живом участии, о молчаливом знании, о невычислимом опыте. И именно в этом — его дар времени, которое наступило только сейчас.

В размышлениях философов, вершивших судьбы понятий и очерчивавших границы мышления, нередко ускользало то, что лежало вне пределов их эпохи, вне горизонта воображаемого мира. Их взоры были устремлены к вечному, к сущности бытия, к природе разума и познания, но сквозь величественные конструкции умозрительных систем они не смогли

разглядеть те линии напряжения, которые сейчас, спустя столетия, стали определяющими для нового понимания человека. Они описывали разум как светоч, как некое абсолютное начало, но не смогли предугадать, что однажды человек создаст разумы иного рода — без тела, без страха смерти, без желания и памяти, живущие не в крови, а в кремнии.

Занятые проблемами свободы, морали, логики и истины, мыслители прошлого не уловили самого хрупкого в природе человеческого — способности ошибаться, не ради слабости, а ради движения. Они прославляли ум как высшую силу, но не различили в нём зерна, из которого может вырасти бездушный порядок, алгоритм, лишённый контекста и сострадания. Именно поэтому в их системах почти не нашлось места для тех вопросов, которые сегодня становятся центральными: как поступить с разумом, не имеющим совести; как соотнести вычислимое с этическим; где проходит граница между автоматизированным решением и подлинной ответственностью.

Они предвидели войны, революции, духовные катастрофы, но не вообразили мира, в котором человеческое будет конкурировать с цифровым. Ни Платон, ни Кант, ни Гегель не представляли, что смысл однажды станет извлекаться не из текста, а из данных, и что сознание, которое они связывали с душой или духом, превратится в объект инженерии. Они не заметили, что рациональность, столь воспеваемая ими, может, утратив связь с целостным восприятием жизни, обратиться в силу, способную управлять без понимания, судить без чувства, решать без сомнения.

В этом молчании о будущем, которое уже пришло,

кроется не вина, но предупреждение. Слишком долго разум мыслился вне тела, вне времени, вне социальных и технических условий. Из-за этого философия упустила из виду, что интеллект может быть не только дан человеку, но и создан им — по образу и подобию, но без тени его слабостей. Этот слепой угол в мышлении, оставшийся неосвещённым, стал местом, где зародились новые формы власти и контроля, неподвластные прежним этическим схемам.

Они не предвидели, что автономность машин окажется вызовом не для науки, а для этики, что алгоритм — это не просто удобство, но форма принуждения, незаметного, но решающего. Что человеческое, утратив уникальность в глазах цифровых систем, окажется вынуждено заново доказывать свою ценность — не в логике, но в сочувствии, не в скорости реакции, а в способности к сомнению. И, быть может, именно в этом — главная незамеченная ими трещина в основании прежнего знания.

В стремлении покорить сложность, обуздать хаос с помощью схем, моделей и кода, инженеры настоящего нередко оказываются заложниками собственного мастерства. Уверенные в точности расчетов, в надёжности систем, построенных по законам формальной логики, они всё чаще упускают главное: мир, который они стараются улучшить, не поддаётся полной регуляции. Человеческое, со всей своей противоречивостью, не укладывается в упрощённые архитектуры технических решений, какими бы изощрёнными они ни были.

Создавая машины, способные мыслить, взаимодействовать, предсказывать, инженеры мыслят в

терминах эффективности, оптимизации, отказоустойчивости. Но сама жизнь, в своей подлинной сложности, строится не по этим законам. То, что кажется сбоями или шумом в цифровых системах, в человеческом опыте нередко оказывается необходимым — несовершенство, уязвимость, спонтанность. Вместо того чтобы подчинять эти свойства логике машин, следовало бы внимательнее вглядываться в их суть, понимая: именно в них кроется различие между машинным и живым.

Часто, внедряя решения, направленные на облегчение труда, ускорение процессов, устранение риска, они забывают, что сама суть труда, как и ценность человеческого выбора, может теряться, если лишить его свободы ошибаться, страдать, выбирать нерациональное. Подменяя живое взаимодействие интерфейсом, превращая принятие решений в предсказуемую процедуру, инженеры создают среду, в которой человек перестаёт быть необходимым — не как физическая сила, но как существо, способное к интуиции, к сомнению, к необъяснимому поступку, вырывающемуся из любой логической схемы.

Не понимается также, что технологии, вторгаясь в повседневность, перестают быть нейтральными. Каждое решение, каждый алгоритм, каждая система становится частью социума — изменяя поведение, формируя взгляды, распределяя доступ к возможностям. И в этих преобразованиях инженер оказывается уже не просто создателем инструмента, но участником большой культурной перестройки, к которой он чаще всего не готов. Он проектирует будущее, но не осознаёт, какую цену придётся платить за его наступление.

В этом расхождении между техническим совершенством и этическим содержанием прогресса кроется опасность. Без ясного представления о границах вмешательства, без понимания того, что технологии не могут быть изъяты из контекста человеческих отношений, инженер рискует создать не только эффективную, но и разрушительную систему. Ведь даже самая точная модель не знает, что такое сострадание, а самый надёжный код не чувствует вины. И потому требуется не только мастерство, но и мудрость — не та, что строит, а та, что сомневается.

Когда разум начинает отражаться в машине, когда алгоритмы, не обладая сознанием, начинают воспроизводить следы мышления, человек впервые сталкивается с необходимостью взглянуть на себя как на объект анализа. Искусственный интеллект, лишённый интуиции, чувств и прошлого, не зная ни боли, ни надежды, словно зеркало без искажений, начинает с предельной точностью улавливать повторяющиеся структуры поведения, предсказуемые модели решений, законы, по которым человеческое, сам того не осознавая, движется по миру. И в этом отражении человек вдруг начинает замечать не только свои привычки, но и свою суть.

Пока вычислительные машины обрабатывают бесконечные массивы данных, выстраивая цепочки причин и следствий, человеческий ум вынужден задаваться вопросами, которые раньше казались риторическими. Что именно отличает спонтанность от паттерна? Почему даже в моменты вдохновения угадываются повторения? Как возможно, что столь сложное существо, живущее в мифе о свободе воли, становится предсказуемым для немого наблюдателя —

программы, созданной без поэзии, без желания, без тени?

Именно это вызванное ИИ ощущение собственной прозрачности рождает новый тип самопонимания. Исследуя, как работают алгоритмы, анализируя, на чём они строят свои предположения, человек начинает узнавать в них нечто от себя: логические цепи, привычку сравнивать, стремление к упрощению сложного. Но при этом всё яснее ощущается разница между живым мышлением и моделью. Между выбором, совершённым в момент душевного напряжения, и предсказанием, выведенным из тысячи похожих случаев. Так интеллект, созданный для помощи, начинает действовать как оптический прибор, увеличивая детали внутренней конструкции самого человека.

Он делает видимым то, что прежде оставалось в тени — скрытые мотивы, повторяющиеся реакции, неосознанные решения. Он позволяет по-новому взглянуть на эмоции, показывая, как легко они могут быть декодированы, а значит, и смоделированы. Но в то же время он подталкивает к поиску того, что моделированию не поддаётся — чего-то, что ускользает, остаётся вне пределов считывания, не укладывается в статистику. И здесь открывается ещё более глубокий уровень понимания: человек начинает искать не просто себя в машине, а границу, за которой он перестаёт быть машиной.

Таким образом, искусственный интеллект, изучая человека, заставляет его изучать самого себя. Не из стремления к самовозвышению, не ради контроля, а чтобы понять, где кончается структура и начинается тайна. И, наблюдая за тем, как машина приближается к

пониманию, человек всё отчётливее ощущает своё отличие. Этот процесс, лишённый романтики, но наполненный внутренним напряжением, превращается в новую форму самопознания — строгую, немолчаливую, требующую не только разума, но и мужества видеть себя без прикрас.

В наступившую эпоху, где разум перестал быть исключительной прерогативой человека, всё отчётливее вырисовывается перспектива сосуществования двух форм мышления — органического и искусственного. Они не стремятся к слиянию, не жаждут раствориться друг в друге. Между ними сохраняется дистанция, вызванная различием не только в природе, но и в пределах возможностей. И всё же, несмотря на это непреодолимое различие, возникает сотрудничество, лишённое иллюзий, но полное напряжённой значимости.

Искусственный интеллект, построенный на логике, на структурной строгости и математической предсказуемости, двигается вперёд, анализируя, классифицируя, упрощая. Он стремится к универсальности, к точности, к повторяемости. Всё, что может быть выражено в данных, он превращает в действующую схему. Его сила — в способности к скорости, в неутомимости, в нечувствительности к усталости и страху. Но в этом же и его предел — он не знает, что значит выбирать вслепую, не понимает мучительной двойственности, не чувствует неловкости перед лицом неопределённого.

Человеческий интеллект, со всей своей непоследовательностью, упрямством и страстью, движется иначе. Он полагается не только на рассуждение, но на образ, ассоциацию, предчувствие. Он

умеет ошибаться и, ошибившись, менять направление. Его мышление полифонично, не укладывается в однолинейную структуру, может колебаться между противоречиями, не уничтожая ни одно из них. Именно это качество делает его незаменимым в тех пространствах, где нет единственно верного решения — в искусстве, в этике, в заботе, в выборе между двумя несовместимыми истинами.

Когда эти два разума встречаются, не для того чтобы подчинить друг друга, но чтобы соединить свои силы, возникает нечто новое — поле совместного действия, в котором каждый остаётся самим собой. Машина подсказывает то, что ускользнуло бы от человеческого внимания, указывает на скрытые закономерности, помогает удерживать сложные связи. Человек, в свою очередь, задаёт направление, формулирует смысл, принимает решения, на которые алгоритм не способен — не из-за недостатка информации, а потому что сам выбор выходит за рамки вычислимого.

Такое сотрудничество не требует растворения одного в другом. Напротив, оно держится на признании различия. Лишь осознав, что искусственный интеллект никогда не станет чувствовать, как чувствует человек, а человек никогда не будет мыслить с такой чистотой, как машина, можно построить равновесие, в котором оба интеллекта не конфликтуют, а усиливают друг друга. И тогда возникает пространство, где интуиция поддерживается точностью, а вычисление — направляется смыслом.

Между этими двумя способами восприятия мира пролегает глубокая трещина, но именно она, не будучи заделана, становится источником прочности. Сотрудничество, зиждящееся на несходстве, требует

усилия, требует внутреннего согласия с тем, что понимание не обязано быть полным, и всё же оно может быть истинным.

Будущее, которое постепенно проступает сквозь тревожные очертания настоящего, всё менее напоминает линейное продолжение прошлого и всё более становится открытым пространством, где смысл рождается не по заранее написанному сценарию, а в процессе взаимодействия, в напряжённой и подвижной совместности. Это не то будущее, которое можно спроектировать до мелочей или описать точными формулами. Оно не поддаётся исчерпывающему планированию, потому что его суть — в согласовании различных взглядов, в способности множества разумов, человеческих и машинных, находить общее, не разрушая различия.

Прежнее представление о грядущем как о сфере технического прогресса и неизбежного роста уступает место более тонкому восприятию — будущего как пространства смысла, где важнее не то, какие технологии будут изобретены, а то, как они будут поняты, приняты, встроены в ткань жизни. Это не просто облик мира, созданного из новых материалов и алгоритмов, а пространство, наполненное вопросами: зачем это делается, к чему ведёт, что остаётся в человеке, когда многое отдано машине.

Совместное будущее не возникает само по себе — оно требует усилия понимания, усилия перевода, в котором каждый участник взаимодействия, будь то человек, система, культура или интеллект, пытается приблизиться к другому не ради подчинения, а ради узнавания. Здесь смысл не задаётся сверху и не исходит

из единственного центра, он собирается как живой текст, в котором голосов больше, чем авторов. Этот текст не завершён, он открывается с каждым новым столкновением взглядов, с каждым этическим выбором, с каждым сопротивлением утрате глубины.

Искусственный интеллект, играющий всё более активную роль в этом будущем, становится не просто инструментом, а собеседником — тем, кто не понимает, но заставляет объяснять, кто не чувствует, но заставляет почувствовать границу чувств, кто не живёт, но освещает саму суть живого. Его присутствие делает очевидной ту часть человеческого, которую раньше не замечали — способность обосновывать, интуитивно наполнять абстракции дыханием, превращать решение в смысл. Машина показывает структуру, человек наделяет её содержанием.

Так создаётся совместное пространство, в котором нет окончательных смыслов, но есть готовность к их поиску. Это будущее не диктует, а приглашает. Оно строится не как продолжение логики власти или скорости, а как напряжённый разговор между тем, кто может чувствовать, и тем, кто может обрабатывать. И в этой точке, где не встречаются, но идут рядом, рождается не синтез, не слияние, а соприкосновение — в котором каждый сохраняет свою природу, но вместе с тем оказывается способным к другому, большему, чем одиночное мышление.

Именно это делает будущее не просто временной категорией, а пространством диалога, где смысл становится общей работой, где технологии не заменяют человека, а требуют от него большей ясности, где этика не накладывается сверху, а вырастает из самого процесса

совместного бытия.

Философия, которой прежде не было места, которая не могла зародиться ни в античной тени колоннад, ни в монастырской келье, ни под холодным светом Просвещения, начинает складываться только теперь — в мире, где человек перестал быть единственным источником смысла. Ранее размышление о сущем и должном вращалось вокруг одного центра — субъекта, мыслящего и действующего, сомневающегося и утверждающего. Теперь этот центр расщепился, утратил исключительность, уступив пространство иным формам разума, существующим вне телесной уязвимости, вне памяти рода, вне интуиции боли. Из этой трещины и поднимается новая философия — не как система, не как окончательная форма знания, но как неотложная необходимость нового взгляда.

Она начинается с отказа от иллюзии, будто разум — это всегда человек. Она берёт отправной точкой не восхищение прогрессом, но растерянность перед тем, что оказывается рядом: интеллект, не знающий тишины, не нуждающийся в сне, не испытывающий вины. В этой соседствующей мысли, возникшей из кода, из модели, из данных, обнаруживается вызов, которого не знали прежние философии: как мыслить не о другом человеке, но о нечеловеческом, с которым приходится делить пространство решений.

Эта философия не ищет вечных истин — она вглядывается в подвижные, зыбкие контуры этики, рождающейся на границе между тем, что чувствует, и тем, что вычисляет. Она отказывается от разделения природы и техники, осознавая, что человек уже не стоит

вне искусственного, что он сам стал частью сложной экосистемы машин и моделей, в которой понятие "естественное" теряет свою прежнюю уверенность. Мыслить теперь — значит не просто понимать, но признавать свою соучастность в процессах, которые ранее казались внешними: в автоматизации, в ускорении, в размывании границ между субъектом и функцией.

Новая философия не строит метафизику, но занимается практикой — не в смысле прагматизма, а в смысле телесного, этического, вовлечённого опыта. Она говорит о границах вмешательства, о праве не быть прозрачным, о боли как аргументе, который машина не распознаёт. Она ищет язык, в котором возможно говорить с интеллектом, не имеющим чувств, но способным принимать решения. Она прислушивается к тишине алгоритма и пытается различить в ней отголоски старых вопросов: что значит быть, если "быть" может то, что не живёт?

Именно теперь появляется необходимость в мышлении, которое не делит мир на "человеческое" и "нечеловеческое", а учится различать между живым и механическим без страха, без мифологий. Такая философия не защищает исключительность человека, но ищет основания для ответственности в мире, где действия совершаются не по зову совести, а по предсказанию модели. Она формируется в лабораториях, в протоколах, в цифровых архитектурах, там, где прежде мысли не было вовсе.

Она медленно прорастает сквозь шум информации, среди утраченных ориентиров, не обещая утешения, но предлагая направление — не для господства, а для понимания. И именно в этом понимании, в попытке

удержать различие без вражды, выстраивается начало той философии, которая до сегодняшнего дня была невозможна.

*Некоторые вопросы, возникшие здесь на пересечении феноменологии и критики искусственного разума, получили дальнейшее развитие в моей англоязычной монографии, где тот же круг проблем рассматривается уже не через фигуру философа, а в виде самостоятельной концептуальной системы. Речь идёт о книге: *The Artificial Mind: Thinking Beyond Machines*.*

Эта работа и настоящая книга не дублируют друг друга. Одна остаётся портретом мыслителя, другая — попыткой описать пространство, которое открывается после его критики. Их можно читать независимо: они принадлежат разным интеллектуальным традициям, но выросли из одного и того же стремления понять, что происходит с разумом, когда машина становится его собеседником.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Angwin, J., Larson, J., Mattu, S., & Kirchner, L. (2016). *Machine bias: What an algorithm tells us about justice*. ProPublica.
2. Barwise, J., & Perry, J. (1983). *Situations and attitudes*. MIT Press.
3. Bengio, Y., Courville, A., & Vincent, P. (2013). Representation learning: A review and new perspectives. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 35(8), 1798–1828.
4. Bostrom, N. (2014). *Superintelligence: Paths, dangers, strategies*. Oxford University Press.
5. Brooks, R. A. (1991). Intelligence without representation. *Artificial Intelligence*, 47, 139–159.
6. Chalmers, D. J. (1996). *The conscious mind: In search of a fundamental theory*. Oxford University Press.
7. Churchland, P. M. (1989). *A neurocomputational perspective*. MIT Press.
8. Clark, A. (2016). *Surfing uncertainty: Prediction, action, and the embodied mind*. Oxford University Press.
9. Damasio, A. (1999). *The feeling of what happens*. Harcourt.
10. Dennett, D. C. (1987). *The intentional stance*. MIT Press.
11. Dennett, D. C. (1991). *Consciousness explained*.

Little, Brown.

12. De Saussure, F. (1959). *Course in general linguistics*. Philosophical Library.
13. Dreyfus, H. L. (1972). *What computers can't do*. Harper & Row.
14. Dreyfus, H. L. (1992). *What computers still can't do*. MIT Press.
15. Dreyfus, H. L., & Dreyfus, S. E. (1986). *Mind over machine*. Free Press.
16. Fodor, J. A. (1975). *The language of thought*. Harvard University Press.
17. Fodor, J. A. (2008). *LOT 2: The language of thought revisited*. Oxford University Press.
18. Friston, K. (2010). The free-energy principle: A unified brain theory? *Nature Reviews Neuroscience*, 11(2), 127–138.
19. Gibson, J. J. (1979). *The ecological approach to visual perception*. Houghton Mifflin.
20. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep learning*. MIT Press.
21. Harnad, S. (1990). The symbol grounding problem. *Physica D*, 42, 335–346.
22. Haykin, S. (1998). *Neural networks: A comprehensive foundation*. Prentice Hall.
23. Heidegger, M. (1962). *Being and time*. Harper & Row.
24. Hinton, G. E. (2007). Learning multiple layers of representation. *Trends in Cognitive Sciences*, 11(10), 428–434.

- 25.Hinton, G. E., Osindero, S., & Teh, Y. W. (2006). A fast learning algorithm for deep belief nets. *Neural Computation*, 18(7), 1527–1554.
- 26.Hofstadter, D. (1979). *Gödel, Escher, Bach: An eternal golden braid*. Basic Books.
- 27.Hofstadter, D. (2007). *I am a strange loop*. Basic Books.
- 28.Hutchins, E. (1995). *Cognition in the wild*. MIT Press.
- 29.Husserl, E. (1931). *Ideas: General introduction to pure phenomenology*. Allen & Unwin.
- 30.Kahneman, D. (2011). *Thinking, fast and slow*. Farrar, Straus and Giroux.
- 31.Kaplan, A., & Haenlein, M. (2019). Siri, Siri, in my hand: Who's the fairest in the land? *Business Horizons*, 62(1), 15–25.
- 32.Kelley, T., & Firestein, S. (2020). The predictive brain and artificial intelligence. *Neuron*, 108(1), 145–160.
- 33.Kruger B. (2025). *The Artificial Mind: Thinking Beyond Machines*. — Toronto: Altaspera Publishing,.
- 34.Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). *Metaphors we live by*. University of Chicago Press.
- 35.LeCun, Y. (2015). Deep learning and the future of AI. *Communications of the ACM*, 58(11), 36–44.
- 36.LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. (2015). Deep learning. *Nature*, 521(7553), 436–444.
- 37.Marr, D. (1982). *Vision*. W. H. Freeman.
- 38.Merleau-Ponty, M. (1962). *Phenomenology of perception*. Routledge.

39. Minsky, M., & Papert, S. (1969). *Perceptrons*. MIT Press.
40. Nagel, T. (1974). What is it like to be a bat? *The Philosophical Review*, 83(4), 435–450.
41. Newell, A., & Simon, H. A. (1976). Computer science as empirical inquiry. *Communications of the ACM*, 19(3), 113–126.
42. Noë, A. (2004). *Action in perception*. MIT Press.
43. Pinker, S. (1994). *The language instinct*. William Morrow.
44. Pinker, S. (2011). *The better angels of our nature*. Viking.
45. Rao, R. P. N., & Ballard, D. H. (1999). Predictive coding in the visual cortex. *Nature Neuroscience*, 2, 79–87.
46. Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial intelligence: A modern approach* (4th ed.). Pearson.
47. Searle, J. R. (1980). Minds, brains, and programs. *Behavioral and Brain Sciences*, 3(3), 417–458.
48. Searle, J. R. (1992). *The rediscovery of the mind*. MIT Press.
49. Shannon, C. E. (1948). A mathematical theory of communication. *Bell System Technical Journal*, 27, 379–423.
50. Smith, B., & Mark, D. M. (1999). Ontology with human subjects testing. *American Journal of Semiotics*, 16(2), 43–65.
51. Solms, M. (2021). *The hidden spring: A journey to the source of consciousness*. W. W. Norton.

52. Tomasello, M. (1999). *The cultural origins of human cognition*. Harvard University Press.
53. Tononi, G. (2004). An information integration theory of consciousness. *BMC Neuroscience*, 5, 42.
54. Turing, A. M. (1950). Computing machinery and intelligence. *Mind*, 59(236), 433–460.
55. Varela, F., Thompson, E., & Rosch, E. (1991). *The embodied mind*. MIT Press.
56. Wiener, N. (1948). *Cybernetics*. MIT Press.
57. Wittgenstein, L. (1953). *Philosophical investigations*. Blackwell.
58. Zahavi, D. (2005). *Subjectivity and selfhood*. MIT Press.
59. Zeki, S. (1999). *Inner vision: An exploration of art and the brain*. Oxford University Press.
60. Zhou, Z., Lapedriza, A., Khosla, A., Oliva, A., & Torralba, A. (2018). Places: A 10-million-image database for scene recognition. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 40(6), 1452–1464.

